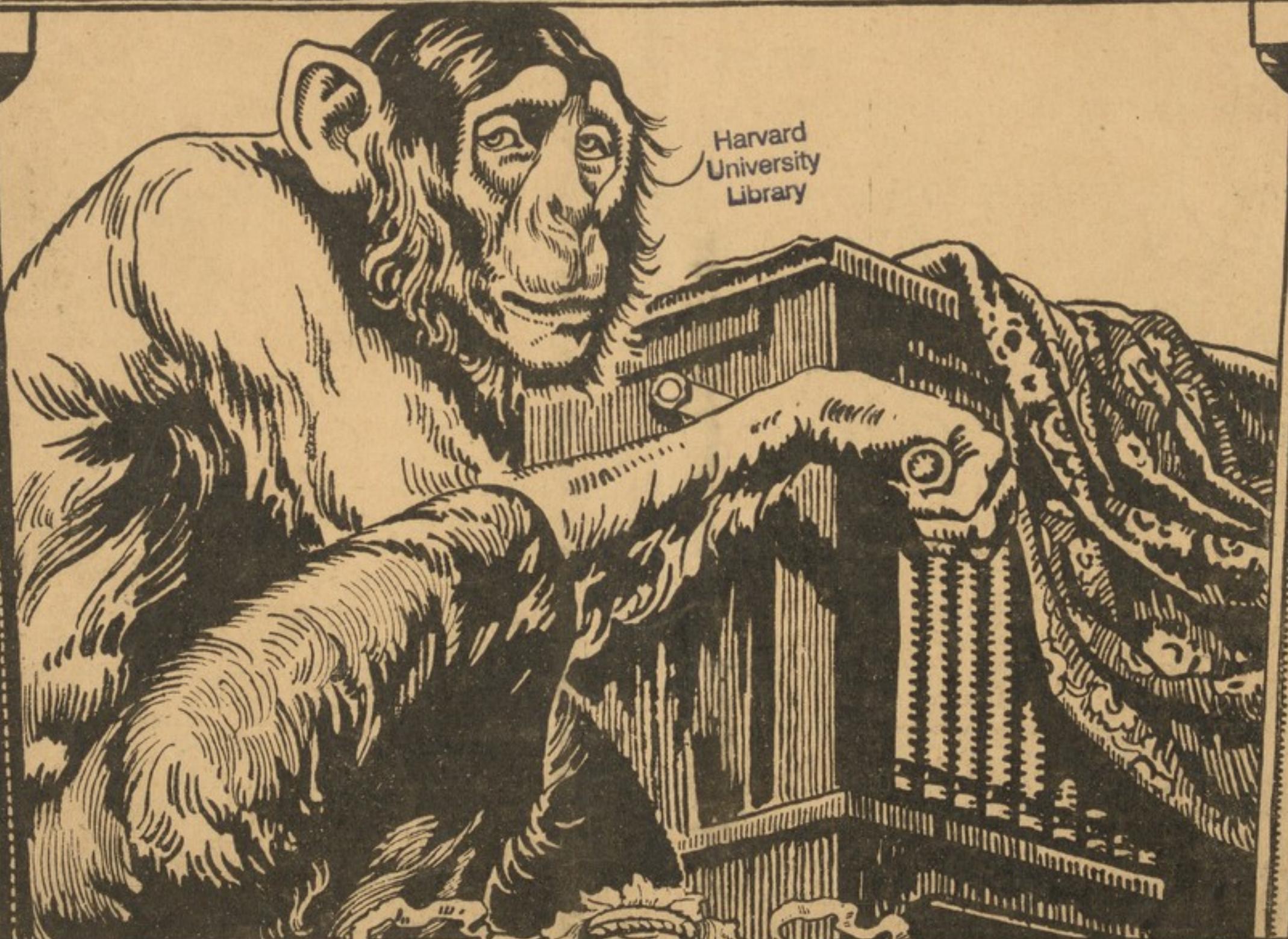




# БОГЕМА



Harvard  
University  
Library

N 5-6

1915

А.ФРИЗОВЪ

Продолжается подписка на литературно-художественный  
журналъ „БОГЕМА“.

Въ Петроградѣ: Абонементъ на 24 вып. 3 р. — к.  
„ 12 вып. 1 р. 75 к.

Въ провинціи: Абонементъ на 24 вып. 3 р. 50 к.  
„ 12 вып. 2 р. — к.

ИЗДАТЕЛЕМЪ ЖУРНАЛА «БОГЕМА» ВСЕЦѣло ЯВЛЯЕТСЯ  
«Студенческая Трудовая Артель».

«Студенческая Трудовая Артель» представляетъ собою трудовую кооперацію учащихся высшихъ учебныхъ заведеній и преслѣдує цѣли экономической самопомощи. Она смотритъ на себя и какъ на носителя идеи объединенія студенчества, вообще, на почвѣ колективнаго труда, освобождающаго мало-обеспеченную часть учащихся отъ заботъ общественной благотворительности. Практически дѣятельность «Студенческой Трудовой Артели» выльется въ слѣдующую форму: по проекту устава, она организуетъ издательство, принимаетъ на себя коммисіонныя порученія по изданію и распространенію литературно-художественныхъ произведеній; открываетъ страховое бюро; устраиваетъ литературные вечера, концерты и т. п. Предполагая возможность устройства студенческихъ столовыхъ, бюро труда, читальни и клуба, «Студенческая Трудовая Артель» увѣрена, что традиціи корпорациіи дадутъ идейное содержаніе новой организаціи, основанной исключительно въ цѣляхъ экономической самопомощи.

Вліяніе «Студенческой Трудовой Артели», какъ издателя, на журналъ „Богема“ заключается въ слѣдующемъ: два ея члена входятъ съ совѣщательными голосами въ составъ Редакціи и ознакомлены съ готовящимся къ печати материаломъ; если «Студенческая Трудовая Артель» найдетъ помѣщеніе того или иного материала несовмѣстимымъ съ своими воззрѣніями, то она пользуется правомъ veto. Но журналъ „Богема“ не можетъ быть названъ студенческимъ органомъ, т. к. не задается цѣлью отвѣтить запросамъ и интересамъ студенчества, какъ такового, и Редакція его не стѣснена никакими ограниченіями при выборѣ сотрудниковъ.

КОНТОРА и РЕДАКЦІЯ

Петроградъ, Апраксинъ пер. д. № 1, кв. 37.

Телеф. 566—67.

Приемъ отъ 6—8 ч. веч.

Къ свѣдѣнію авторовъ.

Рукописи должны быть написаны четко и на одной сторонѣ листа.

Стихотворенія и мелкія рукописи не возвращаются.

Приемъ по дѣламъ Редакціи: пятница отъ 6—8 ч. в.



## СОДЕРЖАНИЕ:

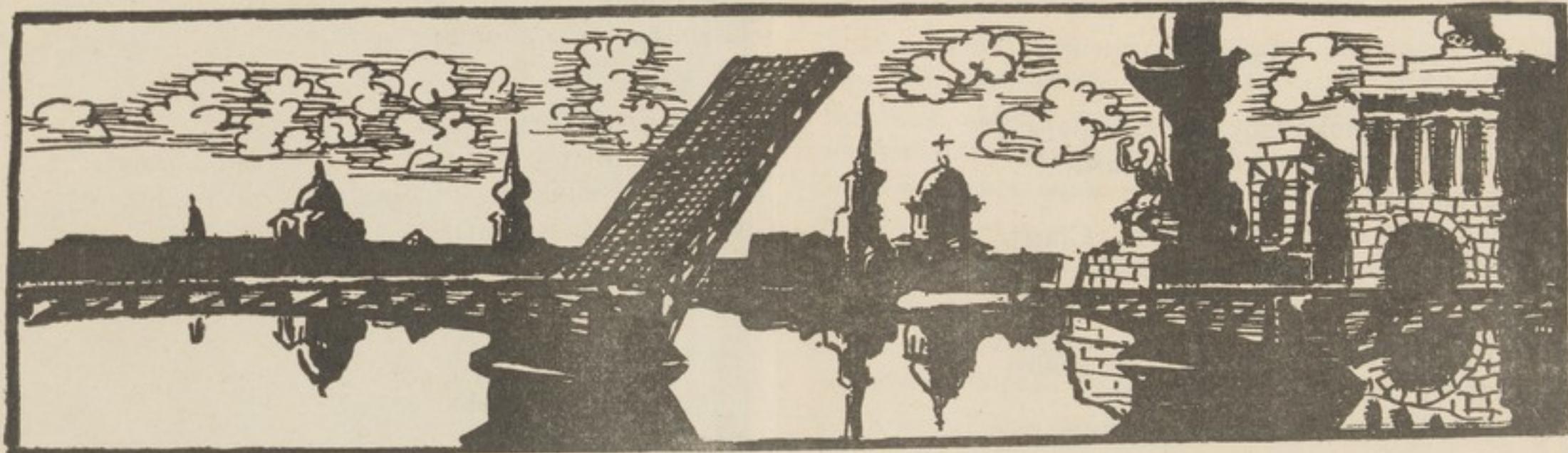
- БОРИСЪ ЛЕЙТИНЪ . . . . . \* \* \* (стих.).  
К. ПОЛЯКОВЪ . . . . . Сэгидилья (стих.).  
А. ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКІЙ . . . . Трулала (стих.).  
МИРМИДИ . . . . . \* \* \* (стих.).  
М. САМАРИНЪ . . . . . Сезамъ.  
А. С. ГРИНЪ . . . . . Матъ въ три хода.  
Я. ЛЮБЯРЪ . . . . . Европа.  
Д. К. . . . . Изъ блокъ-нота.  
А. Б. . . . . Кинематографъ.

## РИСУНКИ:

- М. ТИХОВА-ФИНКЕЛЬШТЕЙНЪ . . Вестибюль. Часы.  
Н. ЛЕРМОНТОВА . . . . . Видѣніе въ полдень.  
АЛЬФОНСЪ ЖАБА . . . . . Изъ путевого альбома.  
С. Л. . . . . Карикатура.

ЗАСТАВКИ и КОНЦОВКИ: Л. Рудневъ, М. Ивашинцова.

Обложка—А. ФРИЗОВЪ.



### Борисъ Лейтинъ.

\* \* \*

Блеклыя женщины подчеркиваютъ тушью глаза.  
Какъ ярко свѣтить бирюза,  
Оттѣненная чернымъ нарядомъ!  
Какъ будто бы трауръ надѣли глаза  
По свѣтлымъ ли взглядамъ,  
Иль по быломъ!  
И рѣзкій изломъ  
Подведенныхъ бровей дѣлаетъ скорбно-прекрас-  
нымъ  
Долгій взглядъ.  
Какъ будто бы въ душу глядять  
Призраки прошлаго. Ярко-краснымъ  
Подчеркнуты губы, какъ свѣжая рана.  
Какъ рано  
Блекнуть краски и цвѣта!

И когда живая красота  
Уходитъ, и яркій нарядъ  
Надѣваютъ брови и губы,  
И когда тускло—блестятъ  
Первые золотые зубы,  
И старости призракъ приближается шагомъ  
размѣреннымъ,—  
Глаза облекаются въ трауръ по ушедшемъ, уте-  
рянномъ...

### К. Поляковъ.

#### СЭГИДИЛЬЯ.

Лунной ночью встрѣча съ женщиной—  
Въ сердце острая стрѣла.  
Взоръ опущенъ, взоръ застѣнчивый...  
Берегись, луна свѣла.  
Засвѣтились губы яркія,  
Какъ пунцовава звѣзда:  
— „Милый“?— Твой.— „Навѣки“?— Да.

Лозина-Лозинскій.

ТРУЛАЛА.

Мы живемъ далеко другъ отъ друга,  
Мы смѣемся надъ всѣми словами...  
У меня далеко есть подруга...  
Гдѣ теперь она, въ Ниццѣ, въ Сіамѣ,  
Трулала съ большими глазами?

Въ Трулала такъ прелестны и гадки  
Угловатость манеръ и остроты.  
Какъ малы башмачки и перчатки  
Трулала, этой странной загадки...  
Трулала, я чувствую, кто ты...

Мефистофель ведеть по панели  
Къ неизвѣстности ленты қадрили,  
Котильонъ неимѣющихъ цѣли,  
Но влюбленныхъ въ шикарные стили!  
Трулала, васъ тамъ полюбили?

Оправдавъ, усмѣхаясь, паденья,  
Мы играемъ съ огнемъ и самумомъ,  
Я краду, гдѣ попало, мгновенія,  
Трулала знаетъ всѣ преступленья...  
Трулала, послѣдній былъ грумомъ?

Будетъ въ мірѣ дурная страница,  
Будетъ самый скупой, безконечный  
Нудный вечеръ, въ который не спится...  
Кто-то тихо ко мнѣ постучится...

Трулала? Войдите, конечно!  
Я безмолвно сниму съ нея шляпку,  
Трулала стала тоньше и строже,  
Я цѣлую, цѣлую перчатку...  
Это больно, и грустно, и сладко...  
Трулала, ты плачешь? Я тоже...

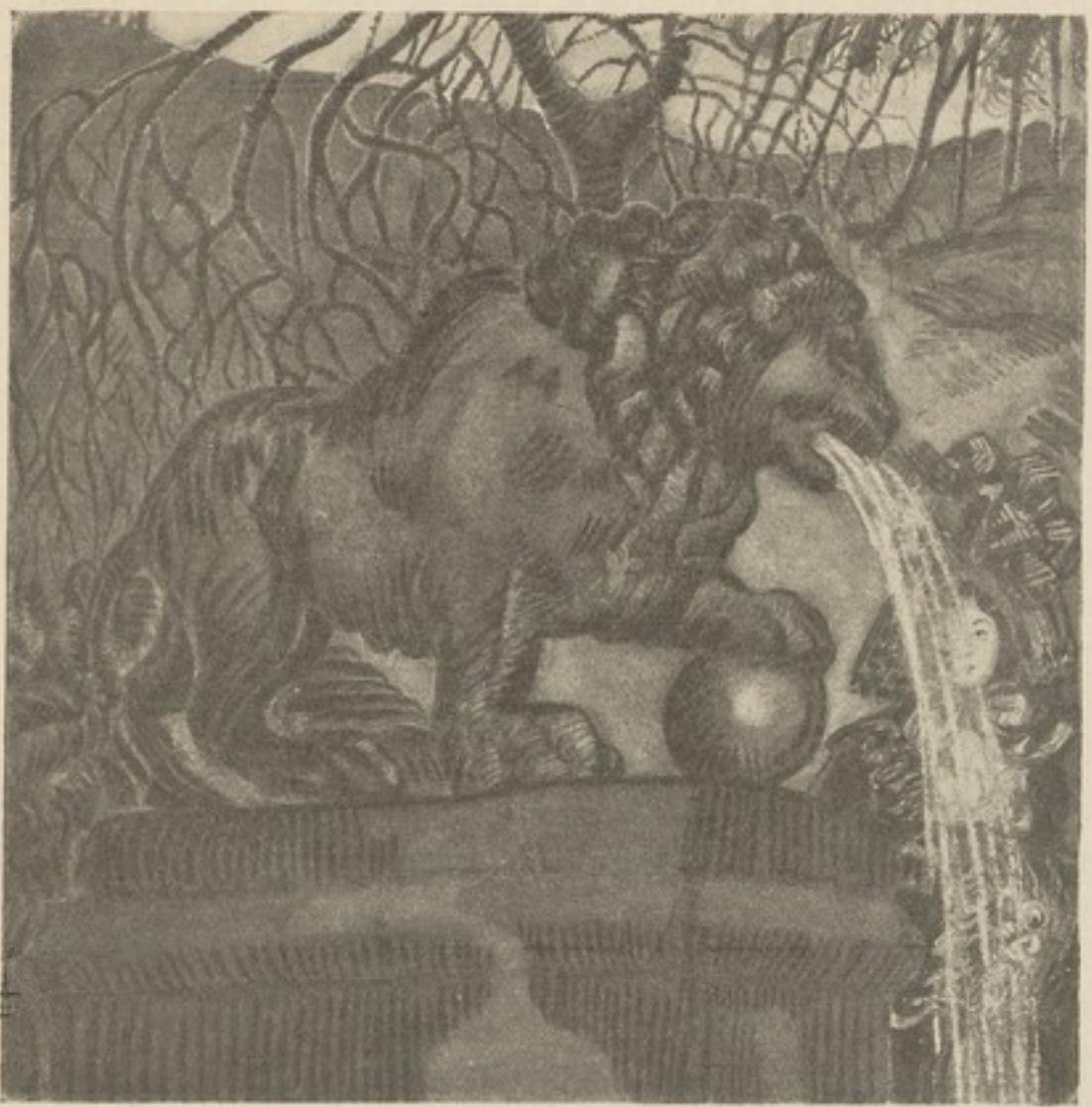
И обнявшись угрюмо и страстно  
Мы молчимъ... Или «рада?»—«да, рада»...  
Какъ мы знаемъ,—все въ мірѣ напрасно,  
Какъ старѣемъ мы съ ней ежечасно...  
Трулала... молчите.., не надо...

МИРМИДИ.

Посвящается А. К. Л.

\* \*

Мой Сатана сталъ остроумнымъ бѣсомъ,  
Холоднымъ, злымъ, расчетливо-упрямымъ;  
Онъ нравится скучающимъ повѣсамъ  
И элегантно-эксцентричнымъ дамамъ.  
Мой Сатана усталъ. Меланхолично  
Читаетъ Библію, Бодлера и Коранъ,  
Былъ въ Индіи, объѣздилъ много странъ,  
Острить умно и не всегда прилично.  
Когда то мы грустили, разставаясь,  
Потомъ о немъ я долго не слыхалъ,—  
Недавно, по редакціямъ скитаясь,  
Въ одной редакціи его я повстрѣчалъ.



М. ИВАШИНОВА.

М. Самаринъ.

## Сезамъ.

— Сезамъ, вы вѣдь любите, когда про васъ говорятъ...  
— Если говорятъ со вкусомъ!

Сезамъ только-что вышла въ фойѣ изъ Малаго консерваторскаго зала, гдѣ еще продолжалась затянувшаяся репетиція къ публичному экзамену. Тамъ въ синихъ сумеркахъ тускло мерцалъ трубами массивный органъ, смутными пятнами рисовалось нѣсколько лѣнивыхъ фигуръ въ пу-

стыхъ стульяхъ для публики и—то хорошо, то вяло—звучалъ рояль, и увѣренно раздавался голосъ молодого, избалованного профессора среди шептавшейся группы учениковъ около эстрады.

А въ фойѣ было много вечерняго апрѣльскаго солнца. Отъ него переливчато сиялъ хрусталь на люстрахъ, тепло блистили мѣдныя дощечки съ фамиліями на портретахъ музыкальныхъ дѣятелей и труднымъ казалось узнать—знакомы или нѣтъ были люди, стоявшіе въ полосѣ свѣта у дальняго окна.

И, приглядываясь къ нимъ, Сезамъ повторила:

— Если говорять со вкусомъ...

— О васъ нѣкто сказалъ вотъ сю минуту, что вы похожи на портреты Климта...

Климтъ? Она не слыхала такого художника, но это ее заинтересовало... Климтъ...

Съ тѣмъ, кто съ ней говорилъ, она прошлась раза три по фойѣ и отвѣтила на фамильярные поклоны изъ группы у окна.

— Онъ здѣсь? Покажите...

И онъ быль у окна, что-то говорилъ, его слушали.

— Этотъ фатъ съ красивыми глазами? Кто онъ?

— Тристанъ...

Его въ кружкѣ звали Тристаномъ оттого, что во всемъ, исходившемъ отъ него, начиная съ міросозерцанія и кончая жестомъ, какимъ онъ стряхивалъ пепель съ папиросы, ощущалась мягкая волна меланхоліи.

Среди молодежи, любившей эстетику, его цѣнили по многимъ причинамъ—и за вкусъ, и за его любовь къ изящнымъ бесѣдамъ, и за его гостепріимство, и отчасти, можетъ быть, за то, что самъ онъ не цѣнилъ никого особенно.

— Онъ интересенъ... Я о немъ уже знаю и, кстати, я еще не слыхала, что онъ думаетъ обо мнѣ... Вы должны мнѣ его представить...—сказала Сезамъ тому, кто съ нею гулялъ по фойѣ.

Я думаю, что это не трудно... Въроятно, и онъ слыхалъ про меня,—прибавила она тономъ раздумья.

Ихъ познакомили. Кромъ Тристана было еще двое, которыхъ Сезамъ видѣла впервые, но ихъ она сразу опредѣлила, какъ скучающихъ снобовъ.

У окна, откуда виднѣлась пустынная Маріинская площадь, было слишкомъ солнечно. Сезамъ сѣла въ тѣни на бархатномъ диванчикѣ и съ удовлетвореніемъ отмѣтила про себя, что разъединила кружокъ. Часть осталась у окна возлѣ Тристана, а часть окружила ее вниманіемъ и обожаніемъ.

— Вы сегодня играли изумительно... Ну, зачѣмъ вамъ дали эту бездарность для второго рояля?—говорилъ одинъ.

— Ахъ, Сезамъ, я впервые видѣлъ сегодня, когда вы играли, какъ надо сидѣть и держать себя за роялемъ! — говорилъ другой, и такъ какъ ему это показалось блѣдно, онъ добавилъ:— Падеревскій послѣ васъ кажется ломакой дурного тона...

— А какой очаровательный жестъ былъ со стороны профессора, когда онъ подалъ вамъ розу!..

Толпились, лѣстили грубо, лѣстили тонко, обнимали взглядами и, обнимая, ждали, если не этой темной розы изъ ея рукъ, то хотя-бы одобрительной улыбки, замыкали въ кольцо своихъ откровенныхъ желаній, но не стѣснялись и ее не стѣсняли — она давно привыкла. А сколько говорили... Они знали, что Сезамъ записываетъ у себя дома все, что ей про нее говорятъ, и что она любитъ, когда ей говорятъ хорошо, но вѣдь Сезамъ не всегда слушала старыхъ поклонниковъ, и теперь ее больше занималъ разговоръ около Тристана. Что Тристанъ, говоря, кокетничалъ и держалъ себя фатомъ сознательно, она поняла скоро, и ее немало привлекало именно это сознательное его фатовство.

— Искусство,—говорилъ Тристанъ, глядя въ окно съ видомъ усталаго человѣка,—но, Боже мой, развѣ можно говорить горячо и съ любовью о современномъ искусстве? Оно ужасно легкомысленно и, въ силу утонченности, поверхно-

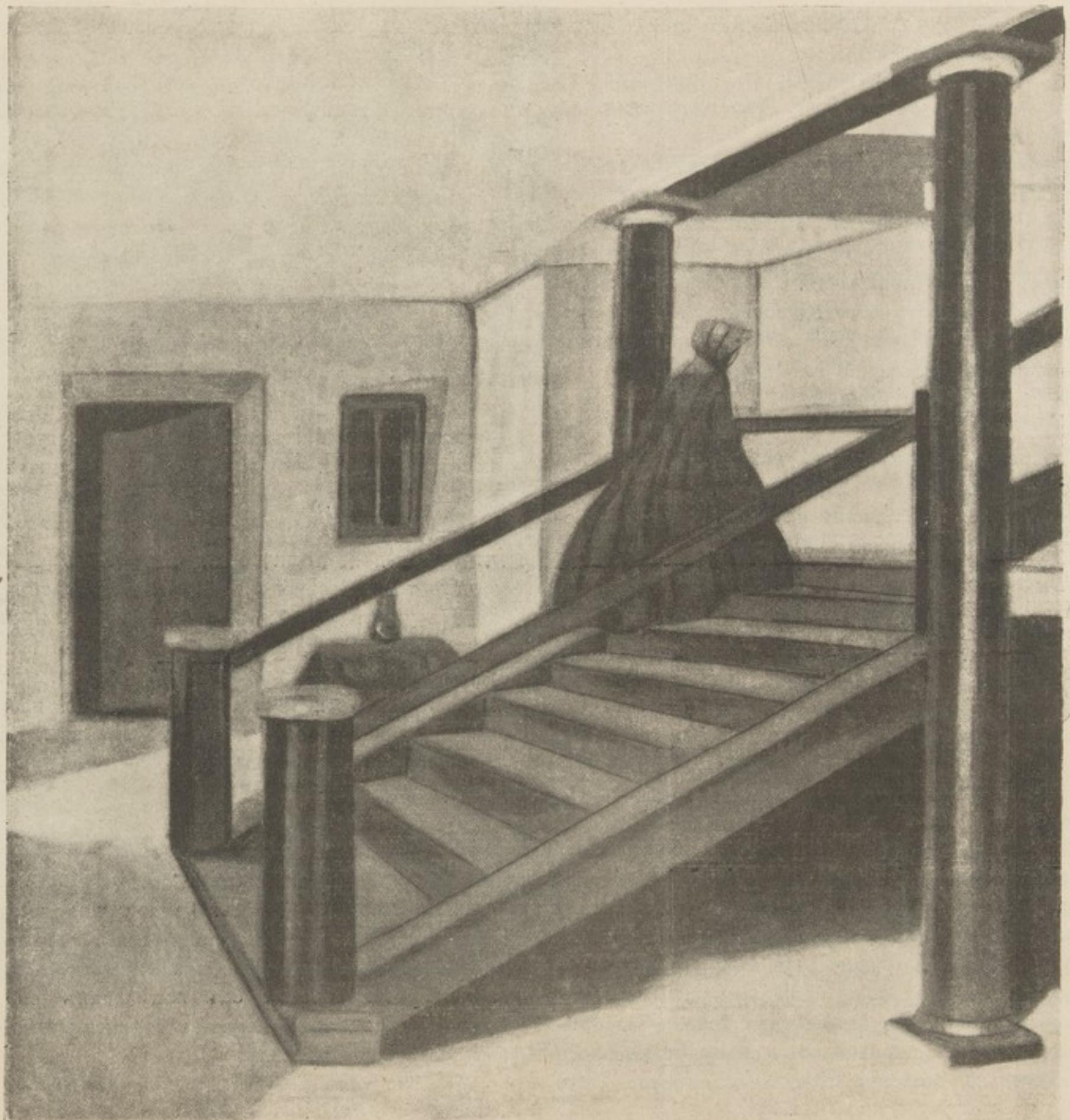
стно... Риторы вмѣсто поэтовъ, позы вмѣсто чувства, стилистические фокусы тамъ, гдѣ нужно непосредственное воспріятіе жизни, неподдѣльный кусокъ ея великолѣпнаго мяса!.. Нѣтъ, пусть это искусство будетъ грубо, пусть оно, наконецъ, будетъ немного пошло, какъ всякий очень здоровый организмъ, т. е. на столько пошло, чтобы стать доступнымъ среднему человѣку... Да нѣтъ, оно не стоитъ критики.. Если о немъ писать, то лишь страшными, обличающими словами, чтобы изъ этихъ словъ могла составиться новая „книга великаго гнѣва“...

Его надо было слышать. Онъ показался Сезамъ не плохимъ музыкантомъ, знающимъ магію интонацій, и она, любезно отвѣчая что-то окружающимъ, сама продолжала слушать Тристана.

— Разумѣется, вы смогли-бы увеличить вдвое вашъ каталогъ поэтовъ, художниковъ и композиторовъ,—говорилъ онъ снова, прослушавъ вѣжливо одно возраженіе,—но что вы этимъ докажете? Что вы читаете альманахи, видите картины и бываете на концертахъ, и только... Искусство завтрашняго дня, я въ этомъ увѣренъ не безъ оснований, уже нашло иные пути, и тамъ, гдѣ теперь находятся наши лауреаты, тамъ понемногу все становится захолустьемъ повторяя себя. Большія имена?.. Они уже пенсионеры, ожидающіе богадѣльни въ видѣ полнаго собранія сочиненій съ портретомъ автора въ изданіи Саблина, а то Вольфа или Маркса... По крайней мѣрѣ я уже не читаю новыхъ книгъ Бальмонта и Брюсова, не интересуюсь замыслами Бакста и Бенуа, да и вамъ не совѣтую... Въ развитіи крупныхъ талантовъ есть такая роковая черта, за которой они становятся скучнѣе скромныхъ начинающихъ дарованій, и это надо помнить всегда, если вы хотите чувствовать всегда у себя подъ пальцами пульсъ искусства, вѣчно измѣнчиваго...

Замѣтивъ, что Сезамъ на него смотритъ, Тристанъ на моментъ умолкъ, и что-то-неуловимое прошло въ его глазахъ.

— Стариковъ надо поскорѣе отправлять изъ искусства подальше. Есть вѣдь разные виды почетной ссылки—многотомная, напримѣръ, исторія искусствъ или, еще лучше,



М. ТИХОВА-ФИНКЕЛЬШТЕЙНЪ

Вестибюль.

хрестоматія: тамъ они снова оживутъ для новаго значенія, но будуть уже предметомъ иныхъ точекъ зрѣнія...—закончилъ онъ и поглядѣлъ на часы.

Сезамъ съ великолѣпной увѣренностью, что ея подарокъ будетъ пріятенъ, протянула ему розу. Глазами она сказала: „Вы мнѣ нравитесь“.

— Пойдемте на острова!..—предложила скрипачка еврейка съ красивыми и глупыми глазами, перебивая завистливый и ревнивый ропотъ тѣхъ, кто надѣялся получить розу Сезамъ и ошибся! Ея предложеніе встрѣтило живое согласіе. Сезамъ начала прощаться. Ей хотѣлось быть совсѣми, но внутреннее чувство говорило ей, что, прощаясь она этимъ самыи вставляетъ себя въ рамку для Тристана и дѣлаетъ именно то, что важно на будущее время.

Тристанъ сталъ прощаться вслѣдъ за нею.

— И вы?

Еврейка покраснѣла. Ея красивые глаза сдѣлались злыми и еще болѣе красивыми.

— Вы-же знаете, Тамара, какъ я не люблю толпы! Побыть въ толпѣ, причаствившись ея бездѣлью,—это значитъ устать на нѣсколько дней... Къ тому-же, у меня плохіе органы ощущеній для природы, какъ у настоящаго горожанина... О веснѣ имъ гораздо лучше разскажутъ поэты, чѣмъ природа...—ласково и уклончиво возразилъ Тристанъ и поглядѣлъ на Сезамъ.

— Тогда и я не пойду... Я провожу васъ.

Тамара сказала это оттого, что замѣтила его взглядъ.

Такъ и не поѣхали на острова.

— Вы меня не провожайте, я хочу быть одна...—сказала Сезамъ друзьямъ. Они были еще больше ей преданы и покорны, такъ какъ она никому изъ нихъ не подарила розы—это логика сердца, хорошо извѣстная ихъ госпожѣ.

Все общество нестройно вышло изъ фойе и задержалась у большого зеркала, вѣланнаго въ стѣну,—захотѣлось дослушать нѣсколько особенно радостныхъ тактовъ изъ

„Staccato—caprice“ Фогриха, донесшагося задорной, какъ весенній вѣтеръ, волной отъ зала, гдѣ еще продолжалась репетиція.

— Послѣ этихъ звуковъ здѣсь темно и тѣсно, господа! Скорѣе на улицу!—предложилъ Тристанъ.

По широкой мраморной лѣстницѣ съ бюстами композиторовъ его компанія сошла внизъ, а обѣ дѣвушки черезъ коридоръ, темноватый и длинный, куда выходили двери классовъ, пробѣжали къ ученическимъ вѣшалкамъ. Здѣсь, прикалывая у зеркала лихой беретъ, скрипачка тихо сказала Сезамъ:

— Вамъ, должно-быть, мало вашего штата лѣстечковъ?

— А вамъ жалко Тристана? Что-же дѣлать, милая Тамара? Какъ ни жаль мнѣ васъ, но вы его потеряете — и оттого, что онъ не будетъ лишнимъ въ моей свитѣ, и оттого, наконецъ, что у васъ слишкомъ вульгарная манера носить беретъ...—такъ же тихо возразила Сезамъ.

— Увидимъ...

— Тамара, бросьте храбриться... Вы отлично знаете, что ваше дѣло проиграно...

Въ тонѣ Сезамъ звучала даже симпатія.

На улицѣ ихъ ждали у витрины съ объявленіемъ о концертѣ Губермана. У снобовъ торчали подъ мышкой сложенные портфели съ вычурными монограммами, и трудно было сказать, кто изъ нихъ больше копировалъ другъ друга, точно они задались цѣлью совершенно сгладить свои индивидуальныя лица.

— Мнѣ хочется побить этихъ господъ палкой! — вполголоса сказала Сезамъ Тристану, и оба расхохотались.

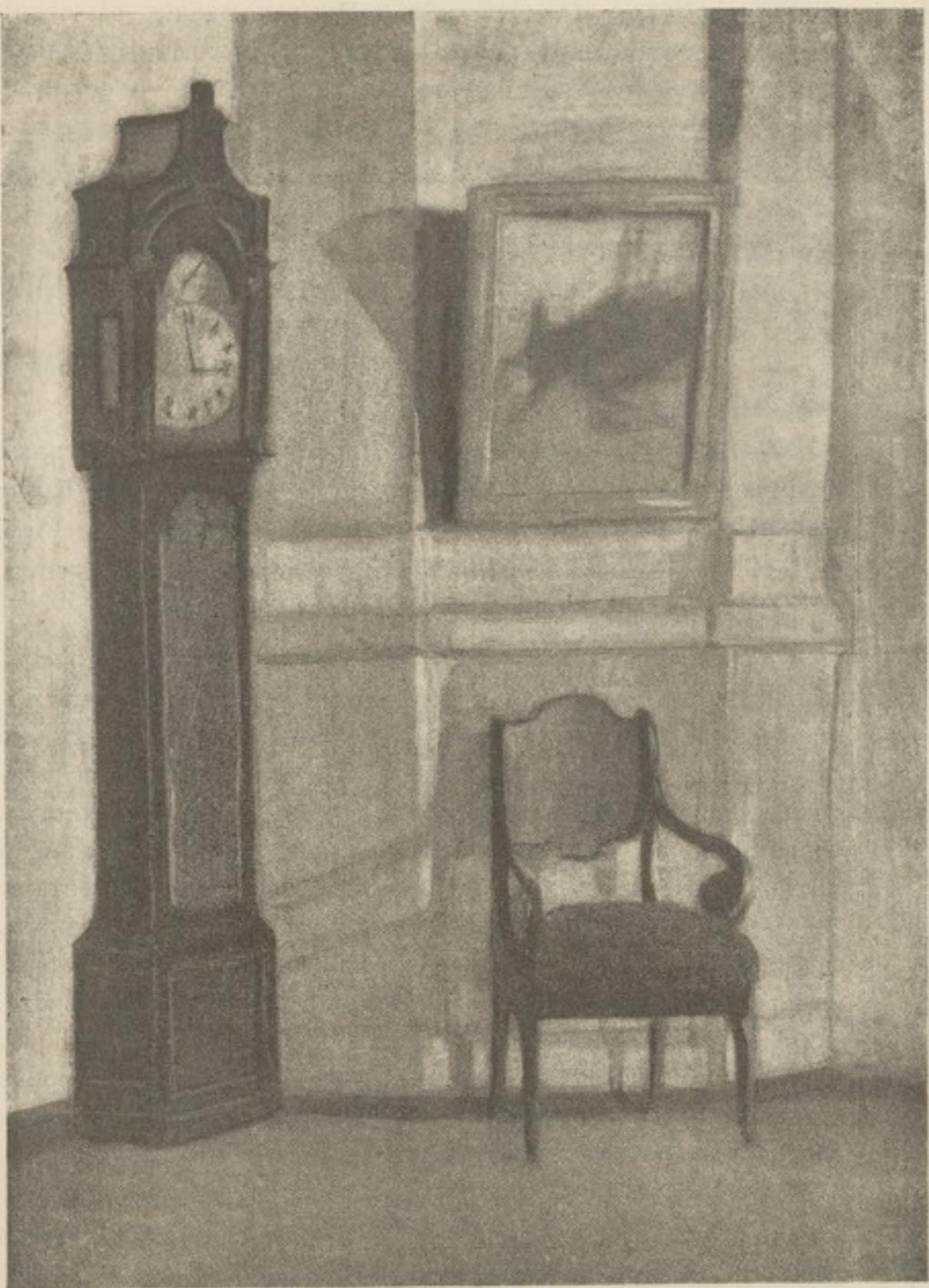
— За что же?

— Я еще сама не знаю.

Общество расходилось. Тамара уже стояла около Тристана, передавъ ему черный футляръ со скрипкой.

— Мнѣ бы хотѣлось съ вами увидѣться,—сказала Сезамъ Тристану, когда онъ поцѣловалъ ей руку и извинился, что не можетъ изъ-за футляра снять цилиндръ. На ея слова онъ отвѣтилъ;

— Это такъ и будетъ.



ТИХОВА-ФИНКЕЛЬШТЕЙНЬ

Часы.

Тамара увела его подъ руку. Давъ имъ сдѣлать шаговъ пять къ улицѣ Глинки, Сезамъ сказала:

— Тристанъ! Посовѣтуйте Тамарѣ иначе носить беретъ!..

Скрябинъ, Метнеръ, Рахманиновъ и, по первому впечатлѣнію, наивный, такой особенный среди модернистовъ Меллертина,—все это Сезамъ играла на память. Меллертина присоединила оттого, что вдругъ вспомнились холодные, нѣмые вечера финской весны, и потянуло къ озерамъ съ тѣмъ исключительно цѣльнымъ порывомъ души, который знакомъ взрослымъ только изрѣдка, а счастливымъ дѣтямъ всегда.

Тристанъ сидѣлъ у раскрытаго окна, куриль и, слушая, разсѣянно перелистывалъ глянцевитыя страницы новой тетради „Die Kunst“. Сегодня ему было грустно. Ему всегда было грустно, если онъ чувствовалъ, что любить не только книги, но и людей. Порою онъ смотрѣлъ изъ окна внизъ. Тамъ онъ видѣлъ, какъ прохожіе замедляли шаги, а нѣкоторые и совсѣмъ останавливались, чтобы послушать Сезамъ. Онъ видѣлъ, какъ они поднимали вверхъ похорошѣвшія отъ углубленного вниманія лица и какъ задумчивыми становились ихъ глаза; вверху было холодѣющее апрѣльское небо, а кругомъ дома и окна, и улицы; и всѣ, всѣ прозаическіе атрибуты будней дѣлала значительными, полными содержанія заря...

Онъ зналъ, о чёмъ думали эти люди, у которыхъ замедленный ходъ вечернихъ мыслей властно перебивала музыка,—они думали, что во второмъ этажѣ играетъ на рояль красивая дѣвушка, и имъ хотѣлось, чтобы эта дѣвушка любила ихъ и играла для нихъ эти прекрасные, величественные, наивные, капризные и ласковые музыкальные фрагменты.

— Тристанъ, вы скучаете отъ моей музыки!..

Сезамъ, разбрзгавъ въ неожиданномъ пассажѣ хрустальные звуки финала, закурила и сѣла у окна, чтобы видѣть лицо Тристана.

— Мнѣ пора уходить домой... И, вообще, я у васъ слишкомъ частая гостья... Что вы молчите, Тристанъ? Отчего у васъ такъ похорошѣли глаза?..

— И у васъ то-же, Сезамъ... Это отъ музыки... Вы сами видите, что дѣлаете не плохо, бывая у меня..

— Плохо... Ваши разговоры, ваши настроенія меня отравляютъ раздвоеніемъ... Я теряю мою цѣльность, я чувствую, какъ вы меня захватываете, точно неотразимая болѣзнь, точно малярія... Эта малярія является душой всѣхъ вашихъ импровизацій на тему обѣ усталости... Болѣзнь, которая одѣвается въ красоту, чтобы скорѣе и вѣрнѣе соблазнить...

— Вы читали Тютчева...

— Не перебивайте... Положеніе очень серьезно, я вамъ говорю. Скоро и я, пожалуй, за вами стану декламировать: „Какое счастіе — не мыслить, какая нѣга — не желать!“ Согласитесь, что это смерть, а оттого, что мы о ней говоримъ стихами Мережковскаго, она нисколько не становится для меня привлекательнѣе... Намъ пора кончить...

— Сезамъ, Сезамъ! Мнѣ очень жаль, что мои слова приносятъ вамъ раздвоеніе... Вотъ вы собираетесь отъ меня уйти совсѣмъ, и я, говоря объективно, не могу васъ за это не похвалить, но, Сезамъ, мнѣ безъ васъ временами будетъ очень грустно... Я, къ сожалѣнію, влюбленъ въ васъ чутокъ больше, чѣмъ во всѣхъ остальныхъ красивыхъ дѣвшекъ... И все-таки я, ради вашего общества, не откажусь отъ моихъ печальныхъ убѣждений... Все-таки я говорю, что наша европейская цивилизація утончилась и устала, что мы переживаемъ поэтическія сумерки передъ страшной исторической ночью Европы, что мы актеры изъ пролога передъ страшной катастрофой, которую готовитъ разгнѣванный Богъ нашему прекрасному міру...

— Замолчите, Тристанъ... Когда мнѣ надоѣсть жить, я обращусь въ аптеку, а пока я хочу существовать и быть предметомъ восхищеній... А главное — я уже знаю, что дальше будетъ: вы начнете говорить, что наша наука, искусство, религія, нравственность, наши нервы и даже

наши моды — это Александрія... Въ заключеніе вы очень хорошо продекламируете что-нибудь изъ „Александрийскихъ пѣсенъ“ Кузьмина и скажете: — я усталъ...

— Сезамъ! Да вы, я вижу, немного меня презираете...

— Немного и невольно, безсознательно, какъ сильный слабаго!.. Однако, дѣло не въ этомъ... Я хотѣла съ вами познакомиться не ради вашихъ монологовъ о концѣ міра... Я думала, что вы часто и хорошо будете говорить обо мнѣ — этого я, правда, добилась, но самое главное...

— Я знаю, Сезамъ, вамъ нужно мое окончательное мнѣніе о васъ...

— Да, оно мнѣ кажется интереснымъ... Что я вамъ нравлюсь — это очень видно, но это еще не все... Когда вы мнѣ скажете все?

Въ тонѣ Сезамъ переливчато звучали иронія и нѣжность..

Тристанъ взялъ ее за горячую руку и сказалъ:

— Милая Сезамъ, вѣдь вы уйдете отъ меня, какъ только добьетесь этого, а мнѣ было бы грустно васъ потерять... Я влюбленъ во всѣхъ красивыхъ дѣвшекъ, но въ васъ чуточку больше, чѣмъ въ остальныхъ. Согласитесь, что для александрийца это уже слишкомъ много... Впрочемъ, вы правы — мое общество для васъ вредно, и намъ лучше разстаться. Послушайте, я сегодня же скажу мое мнѣніе о васъ, я только задержу васъ коротеньkimъ разсказомъ... Вы торопитесь домой, чтобы играть этюды? Ничего, это недолго, къ тому же, вы совсѣмъ не чувствуете, какъ особенно и нѣжно стремится именно сегодня къ вамъ мое существо? Завтра, даже и сегодня, черезъ часъ даже, я уже огрубѣю, и этотъ мой порывъ къ вамъ пройдетъ, потому дайте мнѣ его пережить при васъ и около васъ...

— Зажгите электричество, мнѣ хочется видѣть ваше лицо... — сказала Сезамъ.

— Извольте...

Стѣны комнаты раздвинулись. У Сезамъ тихо мерцали глаза и румянились щеки.

— Слушайте,—садясь опять противъ Сезамъ, началъ Тристанъ,—сегодня во снѣ я испыталъ чувство смерти отъ любви—помните: „Полюбивъ, мы умираемъ“ у Гейне? А затѣмъ я понялъ, что если бы я не былъ александрийцемъ, то полюбилъ бы надолго и крѣпко... Слушайте... Сегодня отъ полуночи до утра надъ городомъ стоялъ ровный, медлительный, усыпляющій шорохъ дождя. Наканунѣ я до десяти часовъ прождалъ васъ, и поглядите, какъ во снѣ шумъ дождя и моя нѣжная сердечная тревога создали наивную исторійку.

Увидѣлъ я во снѣ, что мы, вы и я, живемъ на берегу тихо шумящаго, уходящаго въ даль моря. Нашъ домъ былъ будто бы причудливой архитектуры и сдѣланный изъ дерева, благоухалъ запахомъ сосновой смолы, а внутреннимъ убранствомъ напоминаль постановки скандинавскихъ пьесъ у Комиссаржевской—была въ немъ какая-то особая легкость линій, свѣтлость и простота, дававшія въ цѣломъ единственное и незабываемое впечатлѣніе. Въ этомъ миломъ домѣ, на берегу ласковаго моря, уходящаго вдали, жили мы вдвоеемъ какъ утонченные Робинзоны, и говорили другъ другу какія-то особенные слова размѣренными, немного торжественными стихами, но оттого, что говорили мы стихами, было намъ какъ-то особенно хорошо и легко. И еще потому увеличивалось наше счастье, что мы по-новому ощущали наши тѣла, созданныя точно изъ особой, легкой и свѣтлой, до послѣдняго атома свѣтлой и одухотворенной матеріи. И вотъ я подошелъ къ окну, открывавшему видъ на невѣдомое, безконечное море, и спросилъ васъ:

— Отчего намъ такъ хорошо? Отчего мы такъ изысканно любимъ другъ друга и отчего мы такие сами для себя новые? А вы отвѣчали мнѣ ронделями, это я отлично помню, и сущность вашего отвѣта, въ музыкальнѣйшей изъ стихотворныхъ формъ была такова:

— Милый! Это все оттого, что мы выдуманы и написаны Пювисомъ де Шаваннъ... Оттого такъ ритмична наша рѣчь и наши движенія, оттого такая призрачная, просвѣт-

ленная и легкая матерія нашихъ тѣлъ, и наши глаза такие большіе, какъ будто видѣвшіе иную жизнь, иные лѣса и иные страны...

Говоря это, вы смотрѣли на меня, и было отъ вашего медленно погружающагося въ душу взгляда такъ невыносимо томно и хорошо, что я сталъ умирать. Я сталъ умирать, но вмѣстѣ съ тѣмъ, если бы отъ меня зависѣло, чтобы вы на меня не смотрѣли, я бы все-таки просилъ вашего взгляда, такъ былъ любимъ и нуженъ мнѣ вашъ взглядъ большихъ глазъ, видѣвшихъ иную жизнь и иные страны, и такъ нужна и упоительна была смерть отъ него...

Тристанъ помолчалъ немного, глядя въ окно, и добавилъ болѣе глухимъ голосомъ:

— Знаете, Сезамъ, что я вамъ еще скажу? Я, бездѣльникъ и болтунъ, провелъ, въ общемъ, жизнь очень счастливую, но и въ ней этотъ сонъ прошелъ, какъ самыя обаятельные минуты дѣйствительности... Отъ него я сталъ богаче впечатлѣніями... Вотъ вамъ и признаніе въ очень коротенькой любви моей къ вамъ... Вы уйдете, я стану читать новую книгу стиховъ Гумилева съ еще неразрѣзанными страницами, и уже вмѣсто любви останутся моя грусть, моя усталость и этотъ сонъ...

— Тристанъ! Вы сегодня же должны договорить свое мнѣніе до конца... Я съ каждой минутой вижу все больше, что намъ важно разстаться сегодня же... Если бы вы могли написать обо мнѣ книгу, я, пожалуй, безъ сожалѣнія привязалась бы къ вамъ сильнѣе, чѣмъ это есть, но вѣдь вы не напишете?

— Вы правы, Сезамъ, книги о васъ я не напишу—моя любовь вообще — и къ людямъ и искусствамъ бесплодна... Вмѣсто дѣла у меня только грезы и, въ лучшемъ случаѣ, коротенькия импровизаціи.

Было грустно и странно думать, что двое людей, такъ интимно открывшихъ другъ другу свои души, скоро разойдутся на всю жизнь, и впредь станутъ встрѣчаться какъ далекіе и случайные знакомые, но развѣ это не казалось имъ лучшимъ исходомъ? Къ сложнымъ чувствамъ, тихо волновавшимъ ихъ мысли, примѣшивалось бодрое торже-

ство. Они оба испытали сладость побѣды другъ надъ другомъ и надъ собой, и упивались сознаніемъ своей стойкой мудрости, которую, впрочемъ, они никому не навязывали, какъ нѣчто серьезное и въ жизни самое прекрасное. Она была для нихъ, имъ съ нею думалось и жилось комфортабельно, а остальное врядъ ли было существенно.

Около десяти Сезамъ все еще сидѣла у Тристана. Чрезъ открытое окно бѣлая ночь вливалась такъ много свѣжести, что у дѣвушки зябли ноги въ слишкомъ ажурныхъ золотистыхъ чулкахъ...

Тристанъ стоялъ рядомъ, прислонившись къ косяку, и глядѣлъ немногими грустными, прощальными глазами. Онъ, пожалуй, слишкомъ долго собирался говорить свое послѣднее слово.

Сезамъ сказала:

— Ваша рѣшительность колеблется, чѣмъ больше мы молчимъ...

— Ахъ, Сезамъ... Молчать, когда рядомъ сидѣтъ красавица дѣвушка, очень умная и впечатлительная,—это самое лучшее, что я знаю...

— Но время идетъ... Хотите, я вамъ расскажу про себя одну коротенькую исторію, пока вы будете обдумывать форму своего заключительного слова? Эта исторія вамъ пригодится и для него, какъ маленький штрихъ...

Тристанъ закрылъ окно и опустилъ штору.

— Вамъ холодно... Сядьте на диванъ и позвольте мнѣ окутать плѣдомъ ваши милые ноги... Это прибавить мнѣ одно лишнее острое и пріятное воспоминаніе о нашей стильной близости...

Сезамъ со странной улыбкой повиновалась ему во всемъ. Когда онъ сѣлъ рядомъ, она сказала:

— Представьте! Я волнуюсь, такъ какъ вдругъ потеряла увѣренность, что вы къ этой исторіи отнесетесь такъ, какъ хочется мнѣ... Но все равно, слушайте. Я вспомнила ее особенно четко, когда вы передавали свой сонъ—въ ней такъ же играютъ роль море и запахъ сосенъ, финаломъ

ея тоже была смерть, только у васъ это не пролилось черезъ край сна, а у меня было въ дѣйствительности...

Два года тому назадъ, когда была жива моя мама, мы очень рано уѣхали изъ города. Мы сняли у самаго моря веселую новую дачу... И дача пахла недавно распиленной сосной, а по берегу кругомъ насы зеленѣли сосны и подходили сплошной темной каймой къ песчаному пляжу. Большую часть дня я играла, если не ъездила въ консерваторію на урокъ, а во время отдыха между гаммами и трудными этюдами слушала шумъ моря, читала скандинавскихъ писателей и гуляла по пустынному пляжу... Вѣтеръ надувалъ паруса облаковъ, угонялъ ихъ, какъ грузные корабли, за горизонтъ, развѣвалъ пряди моихъ волосъ и нестерпимо щекоталъ рѣсицы...

Отъ музыки и отъ чтенія въ одиночествѣ я одичала въ нѣсколько дней до того, что не узнавала въ зеркалѣ своего взгляда, а вѣтреные дни у моря нагоняли на меня острую, какую-то злую тоску и безумныя желанія, отъ которыхъ все мое существо пропитывалось ядовитымъ, ужасно беспокоящимъ томленіемъ...

И вотъ еще помню—меня преслѣдовалъ запахъ сосны.. Ароматомъ сосны мнѣ казались пропитанными предметы и люди, весь миръ мнѣ казался сосновымъ боромъ, выросшимъ у берега таинственного, первобытного и пустынного океана. а надъ нимъ играли тихія холодные зори тихихъ бѣлыхъ ночей...

И эти ночи... И въ нихъ для меня было тогда немало очарованій, но злыхъ, почему-то только злыхъ. Онъ скорѣе походили на отсвѣты какихъ-то страшныхъ и нѣмыхъ пожаровъ...

Онѣ зарождали въ умѣ обрывки самыхъ вычурныхъ не то фантазій, не то рапсодій, онѣ зажигали кровь и волновали меня, какъ вино. А низкая линія горизонта, а масса воды, за которой воображеніе угадывало близость невѣдомыхъ странъ...

Словомъ, на своихъ впечатлѣніяхъ я все время испытывала вліяніе моря, и особенно въ бѣлыхъ ночи оно меня и пугало, и манило, навѣвало мысль о призракахъ изъ

какихъ-то миевъ, никъмъ неразсказанныхъ людямъ нашего времени... Если-бы въ одну изъ такихъ ночей по его волнамъ приплыли сильные мужчины въ декоративныхъ костюмахъ и съ нездѣшними лицами, вытащили-бы лодку на песокъ, скрутили-бы веревками мои руки и взяли-бы меня въ неволю, чтобы сдѣлать наложницей какого-нибудь экзотического, изнѣженного мальчика-раджи, я-бы тогда не удивилась этому и не пожалѣла-бы...

Скажите, отчего въ наше время пираты не похищаютъ красивыхъ дѣвушекъ и на фелюкахъ съ парусами, пропахшими моремъ, не увозятъ ихъ изъ нашего края въ края иные, знакомые по сказкамъ и по картинамъ?

Горничная принесла глинтвейнъ.

— Вы не откажетесь, Сезамъ? Вечеръ такой свѣжій, а это васъ согрѣть...

— Тогда дайте мнѣ папироску.

Сезамъ наклонилась къ стакану съ дымящимся виномъ, и напитокъ жарко дышалъ ей въ лицо своимъ сложнымъ, прянымъ запахомъ.

— Слушайте дальше. Не думайте, не только этими фантазіями была занята моя голова... Это было-бы, пожалуй, еще не такъ плохо... Именно тогда моя жажда славы оформилась въ рѣшеніе найти человѣка, который написалъ бы обо мнѣ книгу-романъ, повѣсть или драму или еще что—это безразлично. Я даже переплѣтъ для нея придумала очень красивый...

Вы помните, какъ Бодлэръ говорилъ, что Листу въ городахъ всего міра поютъ славу рояли?.. Вотъ и этого мнѣ хочется... Мнѣ хочется такъ же, чтобы у Здобнова или у Мрозовской въ витринахъ былъ мой огромный портретъ, чтобы о моей жизни писали журналы, чтобы меня показывали въ кинематографахъ... Вотъ о чёмъ я еще и тогда мечтала...

— Мечтаете и теперь...

— Неизмѣнно. Такъ и будетъ... Я умѣю хотѣть. Но послушайте, о чёмъ я еще мечтала: мнѣ хотѣлось, чтобы изъ-за любви ко мнѣ кто-нибудь кончилъ самоубійствомъ... Дѣвушка, ради которой умираютъ люди, уже не простой

человѣкъ, и достаточно ей испытать самоощущеніе обожаемой кѣмъ-то до забвенія жизни и до готовности на самоубійство, чтобы ея психологія въ чёмъ-то перемѣнилась... И вотъ это все ко мнѣ пришло...

Часто съ вечерними поѣздами на два-три часа къ намъ прїѣжалъ изъ города Валерій. Мы съ нимъ вмѣстѣ росли, вмѣстѣ пережили первую любовь, когда намъ было лѣтъ по пятнадцати, а потомъ... онъ на этомъ и остановился. Замѣтьте—онъ, но не я: вѣдь онъ не смогъ-бы на писать обо мнѣ книгу... Тѣмъ не менѣе онъ три раза дѣлалъ мнѣ предложеніе, и, разумѣется, получалъ отказъ. Прїѣжая на дачу, онъ всегда дарилъ мнѣ какую-нибудь изящно изданную монографію о художникахъ или новыя книги стиховъ...

Пилъ чай изъ чашки,—всегда изъ чашки, это была его черта, говорилъ съ мамой о городѣ, а оставаясь со мной, восхищался моей игрой, моими глазами, моей фигурой и очень любилъ вникать въ детали моего туалета.

Само-собой разумѣется, я съ нимъ не скучала—вѣдь предметомъ разговоровъ была я, и только я... Однажды, когда мама ушла къ себѣ послѣ чая, мы вдвоемъ остались на балконѣ лицомъ къ морю... Я совсѣмъ не ожидала, что Валерій вдругъ въ четвертый разъ сдѣлаетъ мнѣ предложеніе — онъ ничѣмъ за весь вечеръ не выдалъ своего плана... „Если вы мнѣ откажите, Сезамъ (это онъ меня прозвалъ Сезамъ), сегодня-же ночью я застрѣлюсь. Я не могу больше жить безъ вашей любви, а вы не посмѣете мнѣ помѣшать хотя-бы въ этомъ счастьѣ отъ смерти—смерть мнѣ будетъ избавленіемъ, и умереть, когда любишь, легко.“ — „Это фразы, Валерій... За васъ я не пойду“... отвѣтила я. У меня только забилось немножко сердце. Онъ чуточку поблѣднѣлъ, долго смотрѣлъ на меня и повторилъ: „Я сегодня застрѣлюсь.“ „Дайте мнѣ слово, что смерть принесетъ вамъ счастье...“ сказала я. Онъ далъ не слово,—съ лицомъ, ставшимъ ужасно новымъ, онъ далъ мнѣ клятву, и я отвѣтила: „Тогда я мѣшать вамъ не буду. Я васъ люблю, только далеко не такъ, чтобы измѣнить моей жаждѣ славы...“

Я чувствовала себя фантастично. У меня минутами начиналось что-то похожее на легкое головокружение—въдь я обрекла человѣка на смерть! „Докажите, что вы меня даже немного любите: погладьте мнѣ лицо вашими руками, и я сохраню это ощущеніе до тѣхъ поръ, пока не изсякнетъ мое сознаніе...“

Я согласилась. Лицо у него было холодное.

„У васъ дрожатъ руки... Если-бы знать—отъ страха или отъ любви,“ сказалъ онъ и попросилъ меня: „Покажите мнѣ вашу комнату, вашъ туалетный столикъ, вашу кровать, ваши бездѣлушки. Мнѣ хочется увидѣть тотъ мірокъ, гдѣ вы переживаете самыя интимныя минуты, когда остаетесь сами съ собой...“ Это все было такъ пустячно и трогательно, что я согласилась. Потомъ онъ ушелъ на поѣздъ. Я его провожала. На лѣсной дорожкѣ мнѣ самой захотѣлось погладить его лицо... Это его сильно взволновало: онъ, вѣроятно, подумалъ сначала, что я не выдержала и рѣшила ему уступить только-бы онъ не убивалъ себя... Однако мое спокойствіе скоро его въ этомъ разувѣрило, и это, видимо, было для него сильнымъ ударомъ по нервамъ послѣ момента надежды. Онъ мнѣ сказалъ срывающимъ голосомъ: „Ну, Сезамъ, я вижу теперь, что вы меня немножко любите, и мнѣ совсѣмъ легко... Свѣримте наши часы...“ Онъ зажегъ спичку, такъ какъ въ лѣсу вечеромъ было темновато, молча накрылъ мизинцемъ цифру два на маленькому циферблattѣ моихъ часовъ и значительно кивнулъ головой, чтобы я точнѣе поняла смыслъ его безмолвнаго указанія. Потомъ онъ уѣхалъ, а я провела ночь безъ сна. Я могла его спасти, когда мы шли по лѣсной дорожкѣ, могла съ полуночнымъ поѣздомъ прїѣхать къ нему въ городъ, но я вмѣсто этого долго сидѣла безъ движенія на камняхъ у моря, долго ходила по комнатѣ, и отъ волненія меня временами знобило, а въ два часа ночи я писала въ дневникѣ, что ради меня Валерій себя вотъ сію минуту убиваетъ и что дѣвушка, изъ-за которой умираютъ, уже больше, чѣмъ просто человѣкъ...

Сезамъ помолчала, пристально поглядѣла на свою недокуренную папиросу. Ей хотѣлось прямо взглянуть на Три-

стана, и вдругъ она пришла въ замѣшательство, почувствовавъ, что это почему-то не въ ея силахъ. „Сднако... Это слишкомъ трусливо, не такой человѣкъ Тристанъ, чтобы...“

Она не докончила мысли и голосомъ, искусственно-громкимъ заговорила опять:

—Что вамъ сказать еще о той ночи, когда Валерій, дѣйствительно, застрѣлился?

Кончивъ страничку въ дневникѣ, я вышла на балконъ и больше, и ярче, чѣмъ когда-либо, уснувшій міръ казался мнѣ пахучимъ сосновымъ боромъ, выросшимъ у берега таинственного, первобытнаго и пустыннаго океана, а надъ нимъ нѣмымъ и страннымъ отсвѣтомъ огромнаго пожара стояла бѣлая ночь...

— И больше ничего?..—спросилъ Тристанъ. Его спокойный голосъ подсказалъ Сезамъ, что она въ немъ не ошиблась. Смѣло встрѣтивъ его изучающіе глаза, она отвѣтила:

— Ничего... Самый фактъ меня волновалъ немного, но Валерія мнѣ, какъ и сейчасъ, было не жаль. А еще въ ту ночь или, вѣрнѣе, въ то утро я думала: найду-ли я человѣка, который написалъ-бы обо мнѣ книгу, и когда все это будетъ?...

— Да, да, Сезамъ, вы найдете... Вѣдь люди Ренессанса—злодѣи, геніи, авантюристы, художники нашли себѣ биографовъ, а вы изъ Ренессанса...

Сезамъ отложила плѣдъ въ сторону, встала у дивана и закинула руки за голову, отчего ея грудь выступила сильнымъ и неожиданно красивымъ контуромъ.

— Ну, я жду вашего послѣдняго слова, Тристанъ...

Ея глаза блестѣли и были разсѣянны...

— Вы изъ Ренессанса...

— Объясните...

— Нѣтъ, это долго... Почитайте хроники Стэндаля, автобіографію Челлини, Мережковскаго, да мало-ли...

Тристанъ шагалъ по комнатѣ, и трудно было уяснить выраженіе его лица.

---

— Мнѣ пора... Послушайте, вѣдь это уже навсегда, Тристанъ... Быть можетъ, вы хотите, чтобы я погладила ваше лицо?.. Для меня это было-бы желанно и пріятно...— тепло, почти нѣжно спросила Сезамъ.

Она чувствовала очень сложное настроеніе своего друга, но истома отъ вина и близкой разлуки послѣ двухъ недѣль духовной связи—все это погружало ея мысль въ лѣнивыя сумерки и, волнуя въ ней еще какія-то неотчетливыя переживанія, мѣшали ей чутко воспринять моментъ и уяснить себѣ Тристана.

— Погладить мое лицо? Нѣтъ, Сезамъ, это, мнѣ кажется, будетъ лишнимъ... Вы ищите шляпу... Пожалуйста, вотъ она...

Сезамъ поблѣднѣла. Ея движенія потеряли спокойную пластичность и грацію, пока она одѣвалась, беря изъ рукъ хозяина шляпу, пальто, сумочку.

Глядя въ сторону, Тристанъ добавилъ:

— А вы были совершенно правы — у Тамары очень вульгарная менера надѣвать береть, но... но, какъ вы думаете, могла-бы она пить ароматы сосны и писать дневникъ въ тотъ часъ, когда изъ-за нея стрѣлялся человѣкъ?

Потомъ уже инымъ, досадливымъ голосомъ:

— Ахъ, Сезамъ... Зачѣмъ это надо было вамъ рассказывать? Зачѣмъ?..

Сезамъ усмѣхнулась... не подавая руки, она пошла къ двери, но у порога обернулась и сказала:

— Если-бы я могла надѣяться, что вы способны написать обо мнѣ книгу, то, повѣрьте, я сумѣла-бы сдѣлать васъ болѣе стильнымъ александрийцемъ... Я вижу, что вы не въ силахъ сейчасъ даже читать новую книгу Гумилева.

М. Самаринъ.





А. С. Гринъ

## Мать въ три хода.

Случай этотъ произошелъ въ самомъ началѣ моей практики, когда я, еще никому неизвѣстный докторъ, проводилъ приемные часы въ уныломъ одиночествѣ, расхаживая по своему кабинету и двадцать разъ перекладывая съ мѣста на мѣсто одинъ и тотъ же предметъ. Въ теченіе цѣлаго мѣсяца я имѣлъ только двухъ пациентовъ: дворника дома, въ которомъ я жилъ, и какого-то заѣзжаго, страдавшаго нервными тиками.

Въ тотъ вечеръ, о которомъ я рассказываю, произошло событие: явился новый, третій по счету, пациентъ. Еще и теперь, закрывъ глаза, я вижу его передъ собой, какъ

живого. Это былъ человѣкъ средняго роста, лысый, съ важнымъ, слегка разсѣяннымъ взглядомъ, съ курчавой бѣлокурой бородкой и острымъ носомъ. Сложеніе его выдавало наклонность къ полнотѣ, что составляло нѣкоторый контрастъ съ рѣзкими, порывистыми движеніями. Замѣтилъ я также двѣ особенности, о которыхъ не стоило бы упоминать, если бы онъ не указывали на сильную степень нервнаго разстройства: конвульсивное подергиваніе вѣкъ и непрерывное шевеленіе пальцами. Сидѣлъ онъ или ходилъ, говорилъ или молчалъ, пальцы его рукъ неудержимо сгибались и разгибались, какъ будто ихъ спутывала невидимая вязкая паутина.

Я притворился совершенно равнодушнымъ къ его визиту, сохраняя въ лицѣ холодную, внимательную невозмутимость, которая, какъ мнѣ казалось тогда, присуща всякой, мало-мальски серьезной профессіи. Онъ смущился и сѣлъ, краснѣя, какъ дѣвушка.

— Чѣмъ вы больны? — спросилъ я.

— Я, докторъ...

Онъ съ усилиемъ взглянулъ на меня и нахмурился, разматривая письменныя принадлежности. Черезъ минуту я снова услышалъ его вялый, смущенный голосъ.

— Вещь, изволите видѣть, такая... Очень странная.... странная. Странная вещь... Можно сказать — вещь... Впрочемъ, вы не повѣрите.

Заинтересованный, я пристально посмотрѣлъ на него; онъ дышалъ медленно, съ трудомъ, опустивъ глаза и, повидимому, стараясь сосредоточиться на собственныхъ ощущеніяхъ.

— Почему же я вамъ не повѣрю?

— Такъ-съ. Трудно повѣрить, — съ убѣжденіемъ возразилъ онъ, вдругъ подымая на меня близорукіе, растерянно улыбающіеся глаза.

Я пожалъ плечами. Онъ сконфузился и тихонько кашлянулъ, повидимому, приготовляясь начать свой разсказъ. Лѣвая рука его нѣсколько разъ поднималась къ лицу, теребя бородку; весь онъ, такъ сказать, внутренно сутился, что-то обдумывая. Это было особенно замѣтно по напряженной

игрѣ лица, горѣвшаго поперемѣнно отчаяніемъ и смущеніемъ. Я не торопилъ его, зная по опыту, что въ такихъ случаяхъ лучше выждать, чѣмъ понуждать.

Наконецъ, человѣкъ этотъ заговорилъ и, заговоривъ, почти успокоился. Голосъ его звучалъ ровно и тихо, лицо перестало подергиваться, и только пальцы лѣвой руки по-прежнему быстро и нервно шевелились, освобождаясь отъ невидимой паутины.

— Удивлять, такъ удивлять,—сказалъ онъ какъ будто съ сожалѣніемъ.—Вы меня только... очень прошу... не перебивайте... Да-а.

— Не волнуйтесь,—мягко замѣтилъ я.—Удивленіе же — это удѣлъ профановъ.

Намекнувъ ему такимъ образомъ на свою предполагаемую опытность въ области психіатріи, я принялъ непринужденную позу, то-есть, заложилъ ногу за ногу, и сталъ постукивать карандашомъ по кончикамъ пальцевъ. Онъ замялся, вздохнулъ и продолжалъ:

— Пожалуйста, не будете ли вы такъ добры... если можно... каждый разъ, какъ я руку подниму... прошу извинить... побезпокойтесь сказать, пожалуйста: „Лейпцигъ... Международный турниръ-съ... Матъ въ три хода“. А? Пожалуйста.

Не успѣлъ еще я изобразить собою огромный вопросительный знакъ, какъ снова послышались страстныя, убѣждающія, тихія слова:

— Не могу-съ... Вѣрите-ли? Не сплю, не ъмъ, идіотомъ дѣлаюсь... Для отвлеченія отъ мыслей это мнѣ нужно, вотъ-съ! Какъ скажите эти слова, такъ и успокоюсь... Говоришь, говоришь, а она и выплыветъ, мысль эта самая... Боюсь я ея: вы вотъ извольте послушать... Должно быть, дней на-задѣ этакъ восемь или девять... Конечно, всѣ думаютъ объ этомъ... Тотъ помретъ, другой... То-есть—смерти... И какъ оно все происходитъ, я вамъ доложу, какъ одно за другое цѣпляется—уму непостижимо... я, этакъ, у окошка, книгу читалъ, только читать у миен охоты большой не было, время къ обѣду подходило. Сижу я и смотрю... Вѣдь вотъ настроеніе какое бываетъ,—въ иной моментъ плюнулъ бы, вниманія

не обратилъ... А тутъ мысли расѣянныя, жарковато, тихій такой день, лѣтній... Идетъ это, вижу, женщина съ груднымъ младенцемъ, платокъ на ней кумачевый, красный... Потомъ дѣвочка лѣтъ семи пробѣжалась, худенькая дѣвченка, косичка рыжая это у нея, какъ свиной хвостикъ торчитъ... Позвольте-съ... Вотъ, вижу, слѣдомъ гимназистка проходитъ, потомъ дама, и очень хорошо одѣтая, чинная дама, а за ней, изволите видѣть,—старушка... Вотъ... понимаете?

Я съ любопытствомъ посмотрѣлъ на его руки: онъ быстро, мелко дрожали, растегивая и застегивая пуговицы сюртука. Въ томъ, что онъ разсказывалъ мнѣ, для него, по-видимому, укладывалась цѣлая цѣпь какихъ-то пугающихъ умозаключеній.

— Нѣтъ, не понимаю,—сказалъ я,—но продолжайте.

Онъ былъ сильно блѣденъ и смотрѣлъ куда-то въ сторону, за портьеру. Я ободрительно улыбнулся, онъ сморщился, подумалъ и продолжалъ:

— Какъ старушка прошла, мнѣ и вступи въ голову такая исторія: одной вѣдь теперь похоронной процессіи не хватаетъ.... Отошелъ отъ окна я, а все думаю: и ты, братъ, помрешь... ну, и все въ этакомъ родѣ. А потомъ думаю: да кто мы всѣ такие, живые, ходящіе и говорящіе? Не только, что трупы созрѣвающіе, въ родѣ какъ яблоки на сучкѣ, а и есть еще во всемъ этомъ какая-то страшная простота...

Передъ послѣдними словами голосъ его престѣся отъ возбужденія. Я напряженно слушалъ.

— Все это,—продолжалъ онъ,—аппетита моего не испортило. Пообѣдавъ, съ наслажденіемъ даже въ гамакѣ лежалъ... А какъ подошла ночь, хоть караулъ кричи,—схожу съ ума, да и все тутъ!..

Жалкая улыбка застыла въ его судорожно сосредоточенномъ, вспотѣвшемъ лицѣ. Выташивъ носовой платокъ и сморкаясь, онъ продолжалъ смотрѣть мнѣ въ лицо тѣмъ же пристальнымъ, остолбенѣвшимъ взглядомъ.

Я невольно улыбнулся: эта маленькая деталь, носовой платокъ, вдругъ разрушила немногого жуткое впечатлѣніе, произведенное на меня страннымъ, чего-то испугавшимся

человѣкомъ. Но онъ сталъ рассказывать дальше, и скоро я снова почувствовалъ себя во власти острого, болѣзnenного любопытства. Еще не зная въ чемъ дѣло, я, кажется, уже готовъ былъ повѣрить этому человѣку, оставляя подъ сомнѣніемъ его ненормальность.

Онъ спряталъ платокъ и продолжалъ:

До вечера былъ я спокоенъ... Веселый даже ходилъ... отправляясь спать, въ садикъ вышелъ по обыкновенію, посмотрѣть, папироску выкурить. Тихо, звѣзды горятъ какъ-то по особенному, не мягко и ласково, а раздражаютъ меня, тревожатъ...

Сижу, думаю... О чёмъ? О вѣчности, смерти, тайнѣ вселенной, пространствѣ... ну, обо всемъ, что въ голову послѣ сытнаго ужина и крѣпкаго чаю лѣзетъ... Философовъ вспоминаю. теоріи разныя, разговоры... И вспомнилась мнѣ одна вещь, еще со времемъ дѣтства... Тогда я сильно гордился тѣмъ, что, такъ сказать, собственный умомъ дошелъ. Вотъ какъ я разсуждалъ: безконечное количество времени прошло, пока „я“ не появился... Ну-съ, умираю я, и допустимъ, что меня совсѣмъ не было... И вотъ, почему въ предѣлахъ безконечности я снова не могу появиться? Я немого сбивчиво, конечно... но примѣръ... такой... чистый листъ бумаги, скажемъ, вотъ. Беру карандашъ, пишу—10. А вотъ—взяль и стираю совсѣмъ, начисто... И что же? Беру карандашъ снова и снова „10“ пишу. Понимаете 1 и 0.

Онъ замолчалъ, перевѣлъ духъ и вытеръ рукавомъ капли пота, мирно блестѣвшія на его измученномъ лысомъ черепѣ.

— Продолжайте,—сказалъ я,—и не останавливайтесь. Въ такихъ случаяхъ лучше разсказать сразу, это легче.

— Да,—подхватилъ онъ,—я... и... ну, не въ этомъ дѣло... Такъ вотъ. Мысли мои вертѣлись безостановочно, какъ будто вихрь ихъ какой подхватилъ.... И вотъ здѣсь, въ первый разъ, мнѣ пришла въ голову ужасная мысль, что можно узнать все, если...

— Если?—подхватилъ я, видя, что онъ вдругъ остановился.

Онъ отвѣтилъ шепотомъ, торжественнымъ и удрученнымъ:

—Если думать объ этомъ безостановочно, не боясь смерти.

Я покалъ плечами, сохраняя въ лицѣ вѣжливую готовность слушать далѣе. Паціентъ мой судорожно завертѣлся на стулѣ, очевидно, уколотый.

—Невѣроятно?—воскликнулъ онъ. —А что, если я вамъ такую перспективу покажу: вы, вотъ вы, докторъ, сразу, вдругъ, сидя на этомъ креслѣ, вспомните, что есть безконечное пространство?.. Хорошо-съ... Но вы вѣдь мыслите о немъ со стѣнками, вы вѣдь стѣнки этому пространству мысленно ставите! И вдругъ нѣтъ для васъ ничего, стѣнокъ нѣтъ, вы чувствуете всѣмъ холодомъ сердца вашего, что это за штука такая—пространство! Вѣдь мигъ одинъ, да-съ, а этотъ самый мигъ васъ на смерть уложить можетъ, потому что вы не приспособлены!..

— Возможно,—сказалъ я.—Но я себѣ не могу даже и представить...

— Вотъ именно!..—подхватилъ онъ съ болѣзnenнымъ торжествомъ.—И я не представилъ, ночуствую,—и онъ стукнулъ себя кулакомъ въ грудь,—вотъ здѣсь ношу чувство такое, что, какъ только подумаю объ этомъ пристально, не отрываясь,—пойму... А понявъ—умру. Вотъ давеча я просилъ васъ слова „мать въ три хода“ крикнуть, если я руку подниму... Все это оттого, что вы мнѣ этими самыми словами въ критическій моментъ, когда оно начнетъ уже подступать,—другое направленіе мыслямъ сразу дадите. А задачу эту въ три хода я выучилъ, когда еще журнальчикъ одинъ выписывалъ. Я ее, голосъ вашъ услышавъ, и начну съ мѣста въ карьеръ рѣшать... Такъ вотъ-съ... сижу я, вдругъ, слышу, жена меня съ крылечка зоветъ: „Миша“. А я слышу, что зоветъ, но отвѣтить ей, представьте себѣ, не могу,—сковали мнѣ языкъ, и все тутъ... Потомъ ужъ я догадался, въ чѣмъ тутъ штука была: настроеніе у меня было въ此刻ъ этотъ, такъ сказать, самое неземное, рѣдкое даже настроеніе, а тутъ нужно о дѣлѣ какомъ-нибудь домашнемъ разговаривать, пустячки разные. Молчу я. Второй разъ зоветъ: „Миша-а! Уснулъ, что ли, ты“? Тутъ я разозлился и сказалъ ей, извините, вотъ эти

---

самая грубая слова: „Пошла къ черту! Хорошо-съ. Ушла она. И такъ мнѣ грустно стало послѣ этого, что и не разскажешь. Пойду, думаю, спать. Раздѣлся, легъ, а все не спится мнѣ, круги разные мелькаютъ, мухи свѣтящіяся бѣгаютъ... А сердце, надо вамъ сказать, у меня давно не въ порядкѣ... Вотъ и начало оно разныя штуки выдѣлывать... То остановится, то барабаннымъ боемъ ударить, да такъ сильно, что воздуха не хватаетъ... Страхъ меня взялъ, въ жаръ бросило... Умираю, думаю себѣ... И какъ это подумалъ, поплыла кровать подо мной, и самъ я себя не чувствую... Ну, хорошо. Прошло это, опомнился... однако, спать уже не могу... Мысли разныя бѣгутъ, бѣгутъ, какъ собаки на улицѣ, разные образы мелькаютъ, воспоминанія... Потомъ, вижу, дѣвочка идетъ утренняя, за ней барышня, потомъ старуха... вся эта процессія, какъ живая движется... И только, знаете, мысль моя на этой старухѣ остановилась, какъ задрожалъ я и закричалъ во весь голосъ: чувствую, одинъ поворотъ мысли и пойму, понимаете—пойму и разрѣшу все, всю загвоздку смерти и жизни, какъ дважды два—четыре... И чувствую, что, какъ только пойму это, въ тотъ же самый моментъ... умру... не выдержу.

Онъ замолчалъ, и показалось мнѣ, что сама комната вздохнула, шумно и судорожно переводя дыханіе. Бѣлый, какъ известь, сидѣлъ передо мной испуганный человѣкъ, не сводя съ моего лица стеклянныхъ, вытаращенныхъ

глазъ. И вдругъ онъ поднялъ, вытянувъ вверхъ руку, старательнымъ, неуклюжимъ движеніемъ,—знакъ подступающаго ужаса,—руку съ крахмальной манжеткой и бронзированной запонкой.

И было, должно быть, въ этотъ моментъ въ комнатѣ двое сумасшедшихъ—онъ и я. Его паника заразила меня, я растерялся, забывъ и „матъ въ три хода“, и то, что значила эта беспомощная, выброшенная вверхъ рука съ желтыми пальцами. Безъ мыслей, съ однимъ нестерпимо загорѣвшимся желаніемъ вскочить и убѣжать, смотрѣль я въ его медленно уходящіе въ глубь орбитъ глаза,—маленькия, черные пропасти, потухающія неудержимо и безцѣльно...

Рука опускалась. Она лѣниво вогнулась сначала въ кисти, потомъ въ локтѣ, потомъ въ предплечіи, всколыхнулась и тихо упала внизъ, мягко шлепнувъ ладонь о сгибъ колѣна.

Испугъ возвратилъ мнѣ память. Я вскочилъ и крикнулъ размѣреннымъ, твердымъ голосомъ, стараясь не показаться смѣшнымъ самому себѣ:

— Лейпцигъ! Международный турниръ! Матъ въ три хода!

Онъ не пошевельнулся. Мертвый, съ успокоившимся лицомъ, залитый электрическимъ свѣтомъ.—онъ продолжалъ неподвижно и строго смотрѣть въ ту точку надъ спинкой моего кресла, гдѣ за минуту передъ этимъ блестѣли мои глаза.

А. С. Гринъ.



Я. Любяръ.

## Европа.

I.

Говорятъ, Екатерина Вторая, обдумывая какія-нибудь реформы, всегда рылась въ бумагахъ Петра Великаго. Подобно сему, если литераторъ ищетъ эпиграфъ или не знаетъ, какъ начать статью, онъ беретъ или томикъ Пушкина или томикъ Грибоѣдова.

Начнемъ съ того, что „свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ“. Не новое, но чѣмъ плохое начало?

Этимъ я хочу сказать, что между Петербургомъ XIX-го вѣка и Петроградомъ XX-го—пропасть. Петроградъ (будемъ на моментъ серьезны, хотя это трудно для меня) не есть просто другое название старого; это новое имя непремѣнно будетъ связано въ исторіи съ новой эпохой страны, будь приложено къ другимъ явленіямъ жизни. Конечно, не имя перемѣнило носителя имени. Самъ этотъ носитель мѣнялся, и новое название, такъ сказать, легко на новое въ немъ, совпало съ периодомъ перелома, который онъ переживалъ. Петроградъ не есть нѣчто выросшее изъ Петербурга, а нѣчто выросшее въ Петербургѣ и такъ-же новъ по отношенію къ нему, какъ сама Петровская столица была новостью по отношенію къ Москвѣ. Есть явленія, знаменующія наступленіе новой исторической эры, есть города—вѣхи: Киевъ, Владиміръ на Клязьмѣ, Москва отмѣчаютъ эпохи. Основаніе Петербурга открываетъ эру бюрократического абсолютизма, строя, опирающагося въ концѣ концовъ все-таки на соху. Петроградъ, который крещенъ много позже своего рожденія, историческая вѣха эры машины (и перечтѣмъ послѣдовательныя звенья) фабрики, биржи, парламента.

Да, только XX-ое столѣtie, только Петроградъ.

Отсюда весь стиль, весь бытъ, вся психологія другая. У насъ сейчасъ тоже повсюду стригутся ветхозавѣтныя бороды и обкарниваются прадѣловскія полы; натягиваются пудреные парики, чулки, башмаки съ тяжелыми пряжками

и пришиливаются шпажонки. И если тутъ можно и улыбнуться вмѣстѣ съ Островскимъ: „что, Тишкѣ, похожъ я на француза?—Какъ есть выпитый французъ“ то буду спорить, есть уже у насъ и французъ. Дѣйствительно, старожилы, погрузимся въ далекія воспоминанія, удіемъ отъ вѣка нынѣшняго въ вѣкъ минувшій, въ Петербургъ конца XIX-го столѣtія.

Вѣдь тамъ были другія постройки, другія лица на улицахъ, другой былъ на улицахъ шумъ. Заглянемъ въ Роты или еще того лучше посмотримъ на Литейномъ домѣ съ надписью: „здѣсь жилъ Пироговъ“—вотъ такие были дома, таковъ былъ весь Питеръ. Трехъ-этажный, двухъ-этажный, плоскій, тусклый домъ казеннаго типа и замызганный третій дворъ, отдающій тоской Чехова и ужасомъ Достоевскаго, были стилемъ эпохи. Это была норма обывательской постройки. А среди нихъ высились ложно-классическія колоннады правительственныйыхъ учрежденій, „судовъ и палатъ“, съ облупившейся штукатуркой и полосатой будкой заспаннаго альгавазила. Другая улица, другіе люди, другой шумъ.

Громыхая, охая, стена, дребезжа стеклами и раскачиваясь, отъ остановки до остановки переползала „ахъ ты, конка, моя конка“ и долго ждала на остановкѣ встрѣчную... А женщинамъ было запрещено ходить на имперіалъ, помните? Какъ-же... Соблазнъ... И только въ эпоху весны Банновскаго, въ самый послѣдній періодъ существованія конки, начальство разрѣшило.. Мы всѣ кричали тогда „Да здравствуетъ реформа!“. На улицахъ подъ сѣнью городовыхъ („при условіи пятака“) процвѣтало множество торговцевъ мелкимъ товаромъ, однообразно кричавшихъ тонкими голосами; у панелей стояли мокрые и липкие латки съ подозрительными сливами; ходилъ сбитенщикъ, о которомъ теперь нѣтъ и помина; тоже и извозчики больше боялись Бога, чѣмъ нынче... А балаганный дѣдъ? Право, жаль балаганнаго дѣда—великолѣпное это было изобрѣтеніе русскаго народа.

Въ Екатерингофѣ было въ маѣ мѣсяцѣ аристократическое гулянье, перенесенное теперь на Стрѣлку.

У букинистовъ Александровскаго рынка на продажу шибко шель Рокамболь, Венеціанскій прынецъ, Бова-королевичъ, три мушкетера... Гимназисты (форму-то нынче отмѣнили, говорятъ?) покупали трепанную греческую грамматику Чернаго и платили бѣшеные деньги за подстрочники къ Ксенофонту и Платону незабвенныхъ благодѣтелей Янчевецкаго и Вроблевскаго (какъ это мы, классики,



Н. ЛЕРМОНТОВА

Видѣніе въ полночь.

на памятникъ имъ не собрали? Видно, съ глазъ долой—изъ сердца вонъ).

Да нѣтъ, что тамъ описывать, вы сами умный человѣкъ, вспомните.

А теперь перечтемъ, просто перечтемъ, что за десять, всего за десять лѣтъ новаго явилось.

Тогда мы увидимъ, что это десятилѣtie совершенно исключительно „разнствуетъ во славѣ“ съ прошлымъ, что ни о какой такой разницѣ между хотя-бы девяностыми и восьмидесятыми, восьмидесятыми и семидесятыми годами говорить не приходится.

Во первыхъ, стиль модернъ. Стиль модернъ эффектной, фантастической, нахальной, устрашающе удобной и безсердечной вѣшности; внутри — цвѣтныя стекла и лифтъ. Правда, гдѣ-нибудь въ Лѣсномъ этотъ стиль-модернъ уютенъ и буржуазенъ — сдѣлано что-то такое чистенько-разсудительно-финское, строго-свѣтлое, но не безъ декаденства, или что-то такое подъ голландское, семейное, традиціонное, но тоже, чортъ возьми, тончайшее по исполненію и смыслу; но въ центрѣ, на издревле буржуазной Садовой, на Каменоостровскомъ — этомъ новомъ Невскомъ, этой типичнѣйшей улицѣ крупной буржуазіи нового типа (Петроградскаго) — стиль модернъ положительно страшенъ. Каждый домъ такъ и хочетъ сказать: вотъ стою и плевать на тебя хочу. Мнѣ удобно, а ты, какъ знаешь. А что я такое — разбираися, если хочешь...

И такое же выраженіе хранитъ бакенообразная физиономія швейцара, пропитавшагося духомъ своего жилища и вовсе не похожаго на небритаго альгавизла въ полосатой будкѣ. И именно такъ выражаетъ свое credo самъ феодалъ этого замка.

Гдѣ конка? Ау, конка... нѣту конки... Трамъ, моторъ, авто, таксо... И они тоже жестоки и дѣловиты, Чудовища! Какъ они кричатъ! И, замѣтьте, они не приближаются, они стремительно растутъ, какъ локомотивъ; у нихъ круглые, немигающіе, какъ у спрутовъ, глаза; они блестятъ четкими механическими частями, они похожи на металлическихъ жуковъ... И пока наконецъ градонаачальникъ не запретилъ имъ, сколько людей они давили очень просто! Мостовая стала лучше, а Бородинская улица, мощенная по западно-европейски, прообразуетъ недалекое будущее полной ассимиляціи съ западомъ.

Вы не достанете въ Александровскомъ рынкѣ Рокамболя; подстрочникъ Вроблевскаго зачисленъ исторіей по химії; ихъ вытѣсили, съ одной стороны, отечествовѣдѣніе

и законовъдѣніе, продуктъ правового порядка, а съ другой—продуктъ капитализма. Натъ Пинкертонъ и Никъ Картеръ съ бритыми физіономіями и проницательными глазами, отъ которыхъ ничего доброго добрые люди не ждутъ. У разносчиковъ — „Синій журналъ“ (онъ умеръ, но *le roi est mort, vive le roi!*); добрую „Ниву“ читаютъ лишь семьи почтовыхъ чиновниковъ въ провинціи. Безпеченскій (петроградецъ!) никогда не читалъ „Нивы“; онъ читалъ Шебуева въ „Синемъ журналѣ“ и ходилъ въ кинемо. Всѣ шофферы тоже.

Да, а кинемо? Чуковскій когда-то называлъ его новымъ литературнымъ явленіемъ, и, что-же, онъ правъ. Кинемо очень измѣнили вѣшность города. И рекламы, свѣтовыя или декадентскія. Если-бы въ академіи искусствъ сидѣли не старыя пантофли, а лоди съ чутьемъ, они давно-бы сдѣлали коллекцію современныхъ рекламъ и афишъ. Прелестные, характерные рисунки! Декадансъ, изгибы узкихъ тѣлъ, одноцвѣтныя краски „по площадямъ“—великолѣпно! Физіономія на папиросахъ „Сэръ“, напримѣръ, вполнѣ разъяснила мнѣ смыслъ жизни и линію поведенія. Другая улица...

Вы обратите ваше вниманіе на мелочи. Чистильщика сапогъ не было? Не было. Газетчиковъ—мальчугана и дѣвчонки десяти лѣтъ—не было? Не было. А вѣдь эти чистильщики и газетчики—это гаменізмъ. Уличный мальчишка приобрѣтаетъ соціальное положеніе

Но это, пожалуй, вздоръ, хотя почему-же? А вотъ, куда важнѣе—моды. Не знаю, можетъ быть, я самъ теперь больше гляжу на женшинъ, но, по-моему, въ Петроградѣ необычайно развился вкусъ къ женской вѣшности. Элегантно обутыя ноги, стянутыя талии и юбки, узкія книзу, изящество и искусственность походки, эти прекрасно выдуманныя кофточки-рубашки и верхнія полюбочки, лисы черезъ плечо—вѣдь это уже живетъ и въ среднихъ и въ низшихъ слояхъ, объ этомъ мечтаетъ швейка, горничная, жена подмастера. Клянусь, что женшины Петрограда малымъ чѣмъ уступаютъ женщинамъ Варшавы и Парижа, и Троицкая улица—наша Rue de la Paix въ миніатурѣ, гдѣ столько хорошихъ модныхъ магазиновъ, что я совсѣтую донъ-Жуану-ди-Маранья снять комнату въ этомъ страшномъ и огромномъ, какъ храмъ бога Дагона, домѣ графа Толстого. Мужчины тоже стали наряднѣе. Студенты не носятъ уже ни синихъ, красныхъ и черныхъ рубахъ, какъ эмблемы эс-дековъ, эс-эротовъ и анархистовъ, ни нигилистическихъ плѣдовъ съ гербами Сѣченова, Бюхнера и Молешотта,—у нихъ крахмальное бѣлье и накидки съ металлической, какъ у морскихъ офицеровъ, застежкой. Они патріоты, футболисты и пьянству-

ютъ и лѣнтяйничаютъ много меньше, чѣмъ лохматые рядовые академического легіона въ эпоху митинговъ и вооруженныхъ возстаній.

А жизнь кафэ! Кафэ... Кафэ... Вѣдь это въ нашей жизни такое же внезапное явленіе, какъ хаки, аэропланъ, бойскотъ; во всякомъ случаѣ внезапна ихъ необычайная многочисленность.

Господа, вниманіе къ кафэ, къ ресторану, къ тавернѣ! Я убѣжденъ, что духъ свободы родился не въ тундрѣ и не въ сильvasахъ, а въ тавернѣ. Въ тундрѣ господствуетъ самоѣдскій богъ Нуьмъ, а въ сильvasахъ атцекскій богъ Кветцалколтль, а само слово *religio*, какъ известно безбожной интеллигентціи, обозначаетъ „связь“.

Но въ кафэ, въ тавернѣ—свобода. Тамъ духъ критики или геройства, или созерцанія и, слѣдовательно, скептицизма. И если и тамъ есть правила, ехидно вывѣшенныя на стѣнкѣ, то подчиняются имъ люди лишь при невыгодной группировкѣ общественныхъ силъ за столиками.

Кафэ не есть пивная.

Въ Петербургѣ всегда была трущобная пивная съ ученымъ скворцомъ или съ подбитымъ граммофономъ, распѣвавшимъ Ой-ру. Пивная была тоже свободолюбива, тоже культивировала бациллы русской общественности и тоже не любила надѣть собой контроля, почему обыкновенно въ ней и была тайная келья, гдѣ можно было поговорить, пріемѣрно, такъ: „Дай, ты намъ, милый человѣкъ, понимаешь? Но чтобъ знаменито было! И моченаго яблока на закуску“. Но пивная имѣла, какъ ясно видно по моей цитатѣ, иную, чѣмъ кафэ, соціальную сущность: она была цитаделью, прежде всего, четвертаго сословія и затѣмъ—студенчества и только своей аристократіей пивная примыкала къ почетной общественной серединѣ. А кафэ—это пристанища, третьяго сословія, именно середины, и, кажется, война сдѣлала ихъ бытовымъ явленіемъ. Кафэ Петрограда живутъ бойкой клокочущей жизнью, гудятъ, какъ потревоженный пчелиный рой, биржевыми и какими угодно сдѣлками, политическими слухами и спорами о моментѣ. Кафэ теперь суррогатъ клубовъ; средней буржуза начинаетъ, въ силу тысячи и одной причины чувствовать въ нихъ потребность. Тамъ кофэ и независимая поза, газеты и случайный собесѣдникъ, шахматный столъ и та взаимная диффузія всѣхъ слоеvъ, о которой въ XIX вѣкѣ петербуржцы знали лишь потому, что видѣли, какой „недалеко отъ Севильи есть кабачокъ Лиласъ-Пастъя“. Вѣдь раньше у настѣ публика ужасно разграничивалась: щеголь-лейтенантъ не ходилъ за

Карменъ въ пивную. Теперь же „крахмальный воротничокъ уравниваетъ въ кафѣ пролетарія съ президентомъ“. Это— Европа. То-есть это еще не Европа, но все-таки уже Европа— все равно, какъ биржа труда въ Петроградѣ.

Пресса есть. Парламентъ есть.

Конечно, у насъ этого не цѣнятъ.

Куда Дума годится? Одно слово никуда. И пресса... дохнуть не даютъ...

Конечно, жалобы эти, какъ выражаются образованные люди, болѣе, чѣмъ справедливы, но все-таки спросите себя, какая была при Плеве Дума? Никакой. Были тамъ „День“ или даже „Рѣчь“ съ „Биржевыми Вѣдомостями“ (крѣость сихъ двухъ органовъ приблизительно равна...)? Не было. Вотъ то-то и оно.

## 2.

Помните Вы, какъ Герценъ законачаль послѣ 48-го года: „У нихъ „ручная свобода“, они трезвы!“ И потомъ поставилъ этотъ до сихъ поръ звенящій, надтреснутый, страстный вопросъ:

„А мы?“

Европа трезва... Европа трезва... Это слышно со всѣхъ сторонъ. Но „мы“ безкрайны. Мережковскій жуєтъ этотъ вздоръ до сихъ поръ. Трезвы и мы. Assai palpitasti! „Довольно ты билось...“ Развѣ въ Россіи безыдейная полоса? Вовсе нѣтъ. Но ея идеи по-европейски трезвы и обнимають не столько высочайшее, сколько должное и не столько должное, сколько сущее. Химерамъ больше не молятся. Можетъ быть, русскіе люди сейчасъ умнѣйшиe и трезвѣйшиe люди на свѣтѣ, мытые за десять лѣтъ въ десяти водахъ. Они за время японской войны, революціи, реакціи и міровой войны всѣ слова пережили и поняли. О, если первая волна общественности шла подъ знаменами какихъ-то царствій божіихъ на землѣ, подъ флагомъ какихъ-то небывалыхъ демократическихъ республикъ, какой-то немыслимой Земли и Воли, какого-то непонятнаго самому себѣ максимализма и символизировалась длинноволосымъ студентомъ, стыдливо прятавшимъ идеализмъ и романтизмъ подъ „грубымъ матеріализмомъ“. то вторая волна олицетворяется въ Гучковѣ и Рябушинскомъ, скрывающими подлинно грубый матеріализмъ подъ внѣшностью хотя и взрослого и почтенного и безхимернаго, но, чортъ возьми, тоже идеализма! Право, кто-то взялъ и подмѣнилъ „четыреххвостку“ четырьмя правилами ариеметики... Хе-хе, Россія знаетъ, гдѣ раки зимуютъ,—она знаетъ цѣну вещамъ!

Развѣ нѣтъ Бога? Онъ есть, но жить по-божьи невозмож-но. Развѣ не нужна политическая свобода? Нужна, но не надо забывать, какъ она отразится на биржѣ. Отечество свято? Да, но въ то-же время знамя отечества весьма можетъ прикрывать и выгоду, явно выводимую посредствомъ счетовъ. Политическія платформы? Онѣ, конечно, важны, но мы по-мнимъ и о синекурѣ. Россія стала трезвой, работящей, конкретной и любящей „малую дѣла“. И иногда я говорю себѣ: „Это не только крестьянъ, а и насъ всѣхъ разселили по хуторамъ!“ И если кто-нибудь и хранитъ былой „общинный падоось“, то это только Родичевъ, который вполнѣ увѣренъ, что своими рѣчами онъ могъ-бы взволновать и урезонить акулу. Но вѣдь онъ по привычкѣ, господа! Человѣкъ не молодой, что подѣлать...

Совершенно измѣнилась литература; отклонилась въ сторону Европы магнитная стрѣлка ея роли, а слѣдовательно, новымъ сталъ и тонъ. Мы этого еще не учитываемъ съ полной четкостью, но вѣдь вмѣстѣ съ Чеховымъ умерла цѣлая столѣтняя литературная традиція, чисто-русская, реалистическая, народолюбивая, учительская, умеръ типъ писателя не то демагога, не то христіанина. Послѣдніе эпигоны этой школы еще доживають свой вѣкъ въ вымирающихъ толстыхъ журналахъ, не могущихъ, подобно всѣмъ крупнымъ животнымъ, приспособливаться къ измѣнившейся обстановкѣ такъ-же быстро и хорошо, какъ элементарные и микроскопические организмы—газетки, журнальчики...

М. Горькій, правда, хочетъ и нынѣ учить, но, помимо всего прочаго, ужъ одно то, что онъ этого хочетъ, что его учительство сплошь преднамѣренно, сознательно, раціоналистично, доказываетъ, что онъ уже не учитель... И какая-то досада и жалость къ нему, слѣпому Пѣшкову, единственному, кто еще не знаетъ, что М. Горькій потерялъ амплуа пророка, охватываютъ при чтеніи его послѣднихъ книгъ.

Андреевъ—о, да это талантъ, но и образецъ поставщика западнаго типа; Купринъ—симпатичный работникъ для „сѣраго люда“ изъ интеллигенціи.

Превосходно умѣеть обо всемъ написать Чуковскій, но какой онъ съ ногъ до головы европеецъ! Ничего общаго съ прежними честнодумными критиками.

Литература стала украшеніемъ, отдыхомъ, побрякушкой публики, пустымъ дѣломъ не рѣдко. Блокъ, Брюсовъ, Бальмонтъ, Сологубъ—украшенія, но только для одинокихъ и мечтательныхъ; Тэffi прекрасная побрякушка, и побрякушка для всѣхъ.

Стремительно распространяется въ литературѣ бульварщина и барышничество.

Но это все Европа.

И лучшее, что, пожалуй, есть въ этомъ европейскомъ теперь—это легкомысленная пѣсенка, не лишенная горечи, правда. Саша Черный былъ очень хорошъ, незабываемо... Отчего его голоса не слышно? Саша Черный, отзовитесь! Это былъ подлинный, большой, больной, умный, искренній поэтъ, котораго жизнь волокла по булыжникамъ... Но онъ дорогъ только поколѣнію 1905-го года. Молодежь его не оцѣнитъ и не полюбитъ. Онъ какъ разъ на грани прошлаго и новаго; нѣтъ, онъ и есть эта самая грань.

„Сатириконъ“ подчасъ забавенъ; Маяковскій—апашъ съ головы до ногъ, Бонно, но это, что рѣдко, смѣлый человѣкъ, говорящій по-своему, иногда ерунду, но всегда свою правду. Но футуристъ—значить Европа. (Хотя, развѣ Маяковскій—футуристъ?)

Интересенъ какимъ-то циническимъ благочестіемъ Розановъ; незауряднымъ и жестокимъ талантомъ неожиданно блеснулъ въ „Смертномъ зовѣ“ Чапыгинъ. Какъ оклеветали Розанова за то, что онъ правый, какъ проглядѣли „Смертный зовѣ“, эту хронику страшной и сумеречной петербургской мансарды! Но таланты не учительствуютъ—они констатируютъ. Вотъ что въ нихъ европейское—вокругъ нихъ есть то, что есть, и они не хотятъ глядѣть въ будущее. И есть оттѣнки, блики и глубина, трагизмъ презрѣніе къ суетѣ.

А вообще говоря, какъ она стала ничтожна и лжива, наша литература!

Самое непрѣятное, что въ ней все чаще входитъ въ обычай, какой-то пустотѣлый и звонкій павоѣ.

Ропшинъ, напримѣръ, прямо-таки крадеть стиль у В. Гюго въ своихъ корреспонденціяхъ съ войны—обрывистыя и величественные фразы (не то Цезаря, не то Бонапарта), удивленіе передъ неудивительнымъ, стилевые образы разныхъ „хмурыхъ капитановъ“ и „старыхъ зуавовъ“... Но этотъ, дѣйствительно, романтикъ, по крайности, а павоѣ какихъ-нибудь газетчиковъ и рассказчиковъ „изъ военнаго быта“ прямо поддѣлка. Дождемся и мы своего Габріэля д'Аннунціо, къ сожалѣнію... Прельстимся на дутое американское золото.

А наша мистика? Вѣдь нѣсколько лѣтъ тому назадъ это былъ „выходъ“, новое слово. Кто-жъ не читалъ тогда Бергсона и Рабиндранатъ Тагора?

Мистики обѣщали революцію духа.

Но кончено съ ней. Наши мистики выдохлись. Они есть и теперь, ихъ много, но, о, ужасъ, мистика стала ручной, она стала теперь просто хорошимъ тономъ во вполнѣ интеллигентныхъ гостиныхъ. Никого теперь они не пугаютъ, ихъ космосъ, ихъ хаосъ, ихъ теология—теперь это все хорошенкія фарфоровыя штучки, разставленные въ тяжелой или пустой головѣ, какъ на каминѣ.

И мистики перерабатываются—съ одной стороны, они уходятъ въ безвкусный классицизмъ, съ другой—въ сююкающую манерность, съ третьей, на гору поклоненія „святой Руси“, къ „житіямъ святыхъ“, которая имъ кажутся, какъ „что-то изъ Анатоля Франса“... У нихъ нѣтъ ни дѣла, ни смѣлости, у этихъ мистиковъ!

Вѣдь въ смѣлости за футуристами имъ не угнаться.. Они и умираютъ.

Трезвы и мистики. И они будутъ въ концѣ концовъ трезвы и въ томъ буддійскомъ храмѣ, открытія котораго, я знаю, они такъ ждутъ, и гдѣ они будутъ глядѣть не на шакью-Туббу передъ собой, а на себя передъ шакьей-Туббой.

### 3

Европа.

Но какая Европа?

Еще безмолвная Европа. Да, здѣсь есть папиросы „Сэръ“. „Синій журналъ“, чистильщикъ сапогъ и „слава Богу, есть парламентъ“, но, посмотрите, наша улица безсловесна Вѣдь есть особый языкъ—языкъ улицы, какъ есть языкъ канцеляріи, языкъ спортсменовъ, языкъ биржи и т. д. И вотъ, что мы говоримъ на улицѣ? Десять фразъ. „Извозчикъ, подавай!“, „Позвольте пройти“, „Вечернюю Биржевую!“ „Скажите, пожалуйста, гдѣ тутъ Чубаровъ переулокъ?“ и еще двѣ-три тусклыя фразы; вотъ и все. Сравните это съ тѣмъ, что горланить на всѣ лады неаполитанская улица, А уличный языкъ Парижа еще богаче, чѣмъ въ Неаполѣ... И тутъ дѣло вовсе не въ климатѣ, на который у насъ всегда все валятъ. Улица Господина Великаго Новгорода была, какъ пишутъ, необычайна криклива. Даже Москва бойчѣй и разговорчивѣй, а въ Петроградѣ—многолюдная, безмолвная, страшная панель и бездарная механическая толпа въ котелкахъ.

Эрве, который никогда не знаетъ, что онъ скажетъ завтра, какъ-то ляпнуль, что Дума—это конвентъ! Ахъ ты, Эрве, Эрве, забавникъ, чучело ты заморское! Конвентъ... сказать такое! А гдѣ-же тогда Мирабо съ его громоподобнымъ „насъ удалять, отсюда только штыками“? Не Роди-

чевъ-ли? Такъ вѣдь если онъ что и громыхнетъ, такъ тотъ-часъ-же пойдетъ и попроситъ прощенія.

Дума—не конвентъ. И наша эпоха—не эпоха великой революціи.

Великая революція была въ 1905-омъ году, а роль энциклопедистовъ-раціоналистовъ и идеалистическихъ материалистовъ (не парадоксъ)—сыграли у насъ Герценъ, Писаревъ, Добролюбовъ, Чернышевскій, Михайловскій, Плехановъ.

А теперь это—Франція эпохи реставраціи, Франція стоятъ тому назадъ.

Франція со скопидомнымъ крестьянствомъ на дворянскихъ земляхъ, за которыхъ надо выплачивать, однако, колоссальныя деньги; съ „ненаходимой палатой“, *chambre introuvable*, надъ которой все таки еще поставлена палата пэровъ по назначенію и которую чуть-что распускаетъ Виллель; съ безконечными бесплодными сессіями, петиціями, резолюціями, адресами и „ожиданіями“; съ реакціоннымъ министерствомъ князя Жюля Полиньяка и „весеннімъ“ министерствомъ роялиста Мартина; съ жалкими каморристами въ пролетаріатѣ; съ талантливымъ, холоднымъ и флюгероподобнымъ Бенжаменъ-де-Констаномъ въ прессѣ; съ религіозными исканіями Сталь, Ламеннэ, Шатобріана, Ламартина, Жозефъ-де-Местра; съ оппозиціей подъ фирмой „Лафайэтъ“, во главѣ которой стоятъ банкиръ Лафиттъ, ренегатъ Талейранъ, краснобай Тьеръ, и *juste-milieu*, „золотая серединка“ Казиміръ Перье; всѣ тѣ, кто обманулъ толпу „юльской недѣли“ заявлениемъ, что „король-мѣщанинъ“—„лучшая изъ республикъ“.

И если будутъ когда-нибудь юльскіе три дня, то „на другой день“, какъ они полѣзутъ на трибуны, какъ они наорутъ и наобѣщаютъ все и всѣмъ, чего хотите, кому хотите всѣ эти коммивояжеры и комиссіонеры банкира Пафита!

Ну, да, «а мы?» «А мы?», какъ спрашивалъ Герценъ.

Что мы? Мы, *homines sapientes*, тоже трезвы, и плакаться, какъ Герценъ, не намѣрены. *Homines sapientes* веселы при всѣхъ обстоятельствахъ.

«Мы» *omisis auctoritatibus, ipsa re et ratione, exquirere debemus veritatem*. И намъ очень весело—и отъ папироcъ «Сэръ» и отъ «Синяго журнала» и отъ стиля модернъ и отъ «ненаходимой палаты». Вѣдь какой это все вздоръ, подумать только!

Я. Любяръ.

## Изъ блокъ-нота,

Какъ много всѣ говорили о М. Г. Савиной, воспоминаній, воспоминаній безъ конца. Не столько, конечно, о Савиной, сколько о себѣ—о мудрыхъ, глубоко чувствующихъ, душевныхъ, очень хорошихъ людяхъ. Примѣръ—Дм. Философовъ. Узнали, что его ласково называли „Димочкой“ и т. д., что отъ Тургенева Марія Гавриловна научилась распознавать пѣвчихъ птицъ, что въ литературныхъ оцѣнкахъ она была „дуреха“ (а не Чуковскій), хотя инстинктомъ чувствовала значительность произведеній и т. д. Всѣ, будто опасаясь чего-то, спѣшно воздвигли вокругъ жизни знаменитой артистки каменную стѣну изъ подвиговъ и добродѣтелей.

Почтенное поколѣніе чувствуетъ опасность, на смѣну ему идеть другое, неясное, пугающее и, какъ всегда,—враги. И поколѣнію учителей-праведниковъ необходимо всю свою жизнь, „наше время“, изобразить великой—на святыни не смѣютъ нападать.

Можетъ быть, всѣ тѣ, кто сейчасъ такъ элементарно по общей таблицѣ вычисталъ величіе Савиной, дѣйствительно любили ее, и неожиданная смерть артистки для нихъ—конецъ пути, и театръ только феерія марionетокъ. Но мы узнали Савину уже знаменитой, намъ все рассказали о ней, и тайну красоты ея мы не почувствовали до глубины.

Иное, незабываемое очарованіе было въ нашей жизни. Тамъ, совсѣмъ въ другомъ, маленькомъ театрѣ влюбились въ Гедду Габлеръ съ большими глазами и въ свое мѣсто искали встрѣчи съ ними, въ нихъ послѣднимъ отблескомъ мелькнула наша романтика, довѣрчивое удивленіе. Какъ любимую мелодію запомнили низкій, волнующій голосъ.

Въ этомъ году г-жа Дилонъ своимъ отвратительнымъ шедевромъ дала другой образъ Комміссаржевской, но, можетъ быть, какой-нибудь счастливый случай уничтожитъ это изображеніе.

АЛФОНСЪ ЖАБА



Из пурпурного альбома.

„Музикальна Драма“—театръ декорацій подъ музыку, реклами (о верблюдахъ!) добилась вниманія къ постановкѣ оперы „Аида“.

Коптяевъ въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ“ называетъ „Муз. Драму“—„театромъ новыхъ исканій“ и заканчиваетъ рецензію такъ: „Залъ полнъ: первая музикальная премьера сезона привлекла общее вниманіе. Я люблю эту весну театра, говорящую: хочу жить!“ Сообщаются свѣдѣнія и о фабрикаціи этой „весны“: г. Севастьяновъ совершилъ путешествіе на родину Радомеса (должно быть, въ Египетъ), г. Лапицкій читалъ книжку объ Египтѣ (должно быть, папиросы), г. Павловъ-Арбенинъ дирижировалъ, а Коптяевъ, какъ духъ творящій, согрѣлъ все вдохновеніемъ своимъ, и наступило ликующее время года и зацвѣла „весна“.

Мелькомъ для приданія мірового значенія этой постановкѣ упоминается и Леонидъ Андреевъ. По словамъ „Биржевки“, популярный геній присутствовалъ на премьерѣ и „своимъ скромнымъ костюмомъ обращалъ на себя всеобщее вниманіе“. А дальше? Отъ Дранкова или отъ кого то другого изъ небожителей прилетѣла слава иувѣнчала избранниковъ лаврами.

Д. К.

## «Кинематографъ».

Внѣшній тонъ жизни сейчасъ—сѣрый; всѣхъ одѣли въ „хаки“ а для прессы открыли педагогическое учрежденіе на Театральной, гдѣ обучаются манерамъ держаться въ обществѣ. Но и на этомъ сѣромъ фонѣ произошло любопытное явленіе—куколка либерализма, „Биржевыя Вѣдомости“, отъ улыбки нового солнца превратилась въ бабочку съ розовыми и черными крыльями. Такая окраска разочаровала многихъ; „Биржевка“ же радостно запорхала, почувствовавъ себя въ фокусѣ общественного вниманія. Все наиболѣе уважаемое въ литературномъ и общественномъ мірѣ, наиболѣе яркое и авторитетное предпочитаетъ (въ смыслѣ сотрудничества)—„Биржевку“—скромно увѣряла она. Уличенные въ обычномъ подхалимствѣ передъ очереднымъ „бариномъ“ (по ея собственной терминології), „Биржевка“ совершила опытной рукой подтасовку и объявила непріятныя разоблаченія „Дня“... „дряннымъ мальчишествомъ по отношенію къ цѣлому ряду лицъ, чистыя и

честныя имена которыхъ произносятся съ уваженіемъ не только въ литературной средѣ, но и по всей Россіи, а нѣкоторыя даже и далеко за предѣлами Россіи“.

Видите,—вотъ мы съ кѣмъ знакомы.

Дѣйствительно, сотрудники „Биржевки“ маститы и знамениты: проф. М. М. Ковалевскій, Бердяевъ. П. Струве, Федоръ Сологубъ и г. Танъ. Сотрудники, очевидно, сознательно принявшие проперовскую идеологію. Вѣдь проф. М. М. Ковалевскаго знаетъ „всю Россію“, и онъ знаетъ „всю Россію“, тщательно изучилъ, такъ привыкъ къ ней, что носилъ ее всегда подъ мышкой, какъ портфель, на каждую лекцію, пока не пріютилъ ея въ „Биржевкѣ“. Недаромъ г. Проперъ расширилъ свое помѣщеніе. Дождался что и къ нему пришли „уважаемые“, собрались всѣ козыри.

Ошибается только г. Проперъ. Игра давно пошла безкоzyрная. Козырей стерли нивскіе ежемѣсячники, „Лукоморье“, фабрики еженедѣльныхъ сенсацій, военные разсказы. Ужъ эти военные разсказы! Они разомъ сдѣлали свое большое дѣло: нивеллировали всѣ имена,—и великія и малыя, и „уважаемыя“ и неуважаемыя, и „яркія“ и не яркія.

Сквозь „таканье“ пулеметовъ въ военныхъ разсказахъ читатель вдругъ различилъ только трескъ кинематографскаго аппарата. Надоумилъ его въ этомъ отношеніи г. Танъ. Въ своемъ отвѣтѣ „Дню“ онъ, наконецъ, открылъ этотъ секретъ. „Настоящая газета — говоритъ онъ — это живой граммофонъ, кинематографъ.“

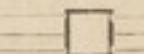
Такъ вотъ оно что. Это уже точка зрѣнія, это уже до извѣстной степени и мотивировка знаменитаго отнынѣ фельетона „Бирж. Вѣд.“ со стороны одного изъ „наиболѣе извѣстныхъ и авторитетныхъ“: вѣдь каждому содержателю кинематографа извѣстно какъ важно и необходимо прежде всего заслужить благорасположеніе мѣстнаго полицейскаго начальства. Ему мѣсто бесплатное, ему почетъ, и иные знаки вниманія. Проштрафиться вѣдь всегда можно. И сообразно со своей кинематографской точкой зрѣнія, г. Танъ проникновенно объясняетъ и читательскую сущность: „Какую газету читать? Публика рѣшаetъ и скоро и легко. Что стоитъ газета,—только пятачокъ или шесть копѣекъ по новой, увеличенной таксѣ“. Продолжая указанную точку зрѣнія, можно повѣрить и правильности перевода г. Таномъ формулы „homo homini lupus est“ черезъ—„газетчикъ газетчику волкъ“. Можно повѣрить, если при этомъ счастье за только подтверждающее исключение недавній трогательный моментъ объединенія необъединимыхъ, казалось бы, органовъ ежедневной печати. Подразумѣваемъ всѣмъ извѣстный,

помѣщавшійся на столбцахъ почти всѣхъ газетъ „манифестъ о копеекѣ“ за подпись слѣдующихъ изданий: „Бирж. Вѣдомости“ (утренн. вып. и 2-е изд.), „Голосъ Ру-  
си“, „День“, „Колоколь“, „Новое Время“, „Петрогр. Газета“, „Петрогр. Листокъ“, „Петрогр. Вѣдомости“, „Рѣчь“, „Свѣтъ“, „Современное Слово“. Не будемъ спорить съ мотивировкой такими почтенными печатными органами этой „копеечной“ надбавки. Не стоитъ оспаривать и правильность утвержденія „манифеста“ о томъ, что война уменьшила тиражъ многихъ газетъ, предоставимъ только интересующимся вычислить, что даетъ эта одна маленькая

„копеечка“ при среднемъ ежедневномъ тиражѣ многихъ газетъ отъ 80 до 100 тысячъ экземпляровъ; форма такого объединенного воззванія, должно быть, имѣть подъ собой серьезную почву. Кажется, съ революціонныхъ годовъ не было такой платформы, которая помогла бы соединиться въ одной подписи столь многимъ и столь различнымъ названіямъ. Копеечка и *Iopus'овъ* соединяетъ.

„Настоящая газета,— говоритъ г. Танъ,— это живой граммофонъ, кинематографъ“ Кинематографъ такъ кинематографъ. И гони читатель эту копеечку, — программа разнообразная и аттракціонная.

А. Б.



Редакторъ: Н. Д. Поляковъ.

ТИП. С. Н. ЧЕРЕМХИНА, ГОРОХОВАЯ, 42.

Издатель: студентъ А. Лапицкій.

УЦЕНКА  
новая цена  
**3 р. 2 к.**

Магазинъ мужскаго платья  
**К. Р. БЕНИНГА.**

Петроградъ, Вознесенскій просп., 24 Телефонъ 508-40.

Получена громадная партія новѣйшихъ матерій ино-  
странныхъ и лучшихъ здѣшнихъ фабрикъ, также  
вновь приготовлены

**ГОТОВЫЯ МУЖСКАЯ ПЛЯТЬЯ:**

пальто, костюмы и проч., въ большомъ выборѣ.

**ФАСОНЪ ИЗЯЩНЫЙ, РАБОТА ПРОЧНАЯ.**

Заказы принимаются на всѣ статскія и форменные платья по самымъ добро-  
совѣстнымъ цѣнамъ и исполняются въ кратчайшее время.

Торговый Домъ  
**КОНЧАЕВЪ и К°.**  
ГОСТИНИЙ ДВОРЪ  
**129.**

Высшія новости —  
— дамскихъ матерій.

Телефонъ 454-53.

**Шерстяныя матеріи,  
модный шелкъ,**

тафта, бархатъ-супль, вельветъ.

**ДЛЯ ПАЛЬТО:** англійскій тонкій  
плюшъ, плюшъ-мѣхъ, бархатъ, вель-  
ветъ, шелковыя ткани, шерстяныя но-  
вости, сукна.

**ОГРОМНЫЙ ВЫБОРЪ.** —  
— ДЕШЕВЫЯ ЦѢНЫ.

открывшееся  
при

**Студенческой Продовой Артели  
„БЮРО ТРУДА“**

просить лицъ, имѣющихъ надобность въ  
интеллигентныхъ работникахъ, обращаться по  
адресу:

Апраксинъ пер. д. 1, кв. 37.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  
на 1915 годъ

на литерат.-художеств. ежемѣсячникъ.  
**„МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ“**

2-ой годъ изданія.

задача ежемѣсячника «Млечный Путь» дать за мини-  
мальнуу цѣну

**ЖУРНАЛЪ ИСКУССТВА.**

Беллетристика, поэзія, живопись, скульптура, архитектура, ху-  
дожественная критика, библіографія, широкая освѣдомленность  
о всѣхъ художественныхъ теченіяхъ современности.

Подписная цѣна съ доставной на годъ:  
въ Москвѣ 2 р. — въ друг. городахъ 2 р. 50 к.  
Пробный № высылается за 2 десятикопѣечные марки.

Редакція и Контора: Москва, Садовники 9, кв. 56.

**РЕЗИНА**

для  
стиранія

**ТРЕУГОЛЬНИКЪ**

стираетъ всѣ карандаши  
не портитъ бумагу.

450

Цѣна 20 коп.

ВНѢ ПЕТРОГРАДА И НА ВОКЗАЛАХЪ ЖЕЛ. ДОР.

25 коп.

**Въ виду особыхъ техническихъ условій номеръ долженъ былъ выйти съ опозданіемъ.**